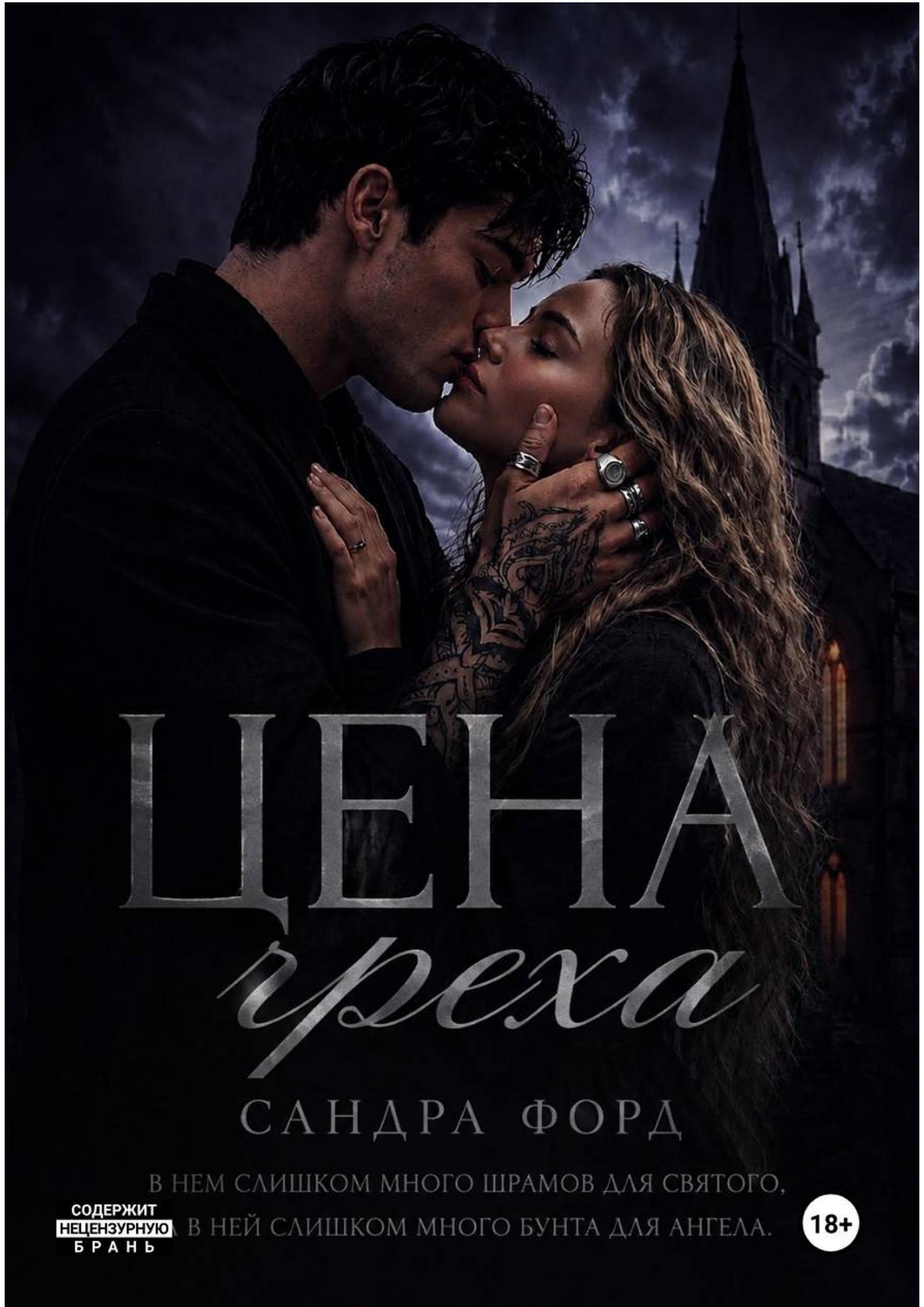




ЦЕНА *греха*

САНДРА ФОРД

В НЕМ СЛИШКОМ МНОГО ШРАМОВ ДЛЯ СВЯТОГО,

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

В НЕЙ СЛИШКОМ МНОГО БУНТА ДЛЯ АНГЕЛА.

18+

Сандра Форд

Цена греха

«Автор»

2026

Форд С.

Цена греха / С. Форд — «Автор», 2026

Арин Келли — идеальная дочь священника: играет на органе, носит длинные платья и никогда не спорит. Но внутри неё бунт. Она мечтает о жизни, которая принадлежит только ей, а не церковным канонам. Всё меняется в один миг на берегу реки Блэкуотер. Там она встречает Шона Маккарти — парня с репутацией уголовника и глазами человека, видевшего слишком много боли. Для всего городка он никто, но для Арин он становится глотком свежего воздуха. Рядом с ним можно быть настоящей и забыть о том, что значит «быть хорошей». Когда отец Арин узнаёт правду, его праведный гнев обрушивается на них обоих. Он готов пойти на всё, чтобы разлучить влюблённых и вернуть свою заблудшую дочь. Эта история о первом чувстве, которое сильнее страха. О противостоянии и выборе между долгом перед семьёй и правом на собственное счастье.

© Форд С., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Дисклеймер	5
Предисловие от автора	6
Пролог	7
Глава 1	8
Глава 2	15
Глава 3	25
Глава 4	34
Глава 5	45
Конец ознакомительного фрагмента.	55

Цена греха

Дисклеймер

Данная книга содержит сцены, которые могут стать для Вас триггерными:

- травматические события (жестокое обращение, убийства, пытки)
- психологическое давление (манипуляции, эмоциональный абьюз)
- тема утраты (смерть близких, неизлечимые заболевания)
- физиологические триггеры (употребление алкоголя)

Предисловие от автора

Эта история о том, какой ценой измеряется право на собственное счастье. О том, что родители, любящие больше всего на свете, иногда становятся самыми жестокими врагами.

Я не обещаю лёгкого чтения. Здесь будут сюжетные повороты, где придётся дышать через раз, стискивать кулаки и смотреть, как вырывается наружу то, что так долго замалчивалось.

Но я обещаю правду — без прикрас. Таковую, от которой саднит в горле и которую невозможно забыть.

Освобождение начинается, когда мы перестаём винить и начинаем прощать — себя, друг друга, и ту жизнь, которая не всегда была к нам справедлива.

Если вы когда-нибудь позволяли себе делать то, что нельзя, или молчали, когда хотелось кричать, — эта книга для Вас.

Переверните страницу. И дайте истории Арин и Шона начаться.

Пролог

Тишина в исповедальне — не пустая. Она пропитана чужими грехами. Её хочется смахнуть с лица, как паутину, но пальцы только сильнее сжимают подол маминого платья.

— Прости меня, отец...

Шёпот сдирает голосовые связки, оставляя после себя саднящее ощущение.

Ткань под пальцами натягивается до скрипа. Я пытаюсь выжать из неё правду, которую сама не могу произнести.

— Я думаю... о нём... о плохом мужчине. — Голос срывается на последнем слове. Слова проваливаются в деревянную решётку — как в чёрную воду.

Я не плачу. Слезы — значит признать, что это правда.

Не знаю, слышит ли меня Бог. Но я знаю, что слышит отец — по ту сторону перегородки. И это самое страшное.

Шон.

Я не произношу это имя вслух. Оно прирастает к языку, пускает корни в миндалинах. Но отец слышит его в паузах между моими словами. Он всегда слышал. И всё знал.

Ещё тогда, когда Шон смотрел на меня — как на сокровище, которое ему не принадлежит, но он всё равно хочет унести. Спасти.

Отец вздыхает. Глухо. Обречённо. В выдохе уместается вся тяжесть его разочарования.

— Бог простит тебя, моя дочь... — Голос отца пробивается сквозь решётку — холодный и сухой, как шелест страниц старой Библии. — Он прощает всё. Главное — признание своих ошибок.

В воздухе повисает пауза.

Я слышу, как скрипят половицы под его ногами. Как он встаёт. Поворачивается.

— Шон Маккарти. Ты ответишь за то, что осквернил мою дочь.

Его тон становится ниже. Не злым — страшным. Ледяным. Таким голосом читают приговоры.

— Остаётся только устранить. Насильно.

Глава 1

Арин Келли

Чужая боль — это мостик, по которому две души узнают друг друга.

Звон щенячьего лая заполняет вольер ратморского приюта, отражаясь от металлических прутьев.

Я провожу щёткой по каждому углу будки. Это почти медитация — ритмичные движения, шершавая поверхность под пальцами, сосредоточенность на задаче, которая не требует думать. Просто чистить. Просто дышать. Просто быть.

Но малыши не дают забыть, зачем я здесь на самом деле.

Шестеро крошечных хвостиков мечутся по пространству, сбиваясь в один пёстрый, виляющий комок. Они почти сбивают меня с ног — тычутся мокрыми носами в колени, прыгают на руки.

Мой серый спортивный костюм уже испачкан. Разводы на коленях, тёмные пятна на рукавах. Один из щенков запрыгивает мне на спину, и я чувствую, как его лапы упираются в лопатки, оставляя маленькие отпечатки нетерпения.

Но меня это не тревожит.

Наоборот — внутри разливается радость. Она заполняет пустоту, о которой я стараюсь не думать дома. Здесь я не дочь священника. Не та, за кем следят. Я просто человек.

Наклоняюсь за миской, и в этот момент второй щенок успевает лизнуть меня в нос.

Я начинаю смеяться. Звук вырывается из самой глубины — оттуда, где я прячу усталость, невысказанные слова и вечное «надо».

Когда замечаешь такие простые моменты, мир перестаёт давить на плечи. Они как якоря — удерживают на плаву, не дают уйти под воду.

— Покой тебе теперь будет только снится, Рекси. — Говорю я с нежностью, обращаясь к матери-овчарке, которая развалилась в углу вольера.

Она лежит на спине, вытянув лапы в разные стороны. Грудь мерно вздымается, глаза полуприкрыты в блаженной полудрёме.

Я перевожу взгляд на её живот.

Шрам после кесарева тянется от рёбер к паху. Я смотрю на эту полосу и думаю: никому не даются трудности, которые он не сможет пройти.

Мы все сильнее, чем нам кажется в моменты отчаяния.

Опускаюсь на колени рядом с Рекси. Достая из кармана тюбик с обезболивающим гелем. Выдавливая немного на пальцы и аккуратно, едва касаясь, наношу на шрам.

Она напрягается. На секунду. А потом выдыхает и расслабляется.

Я прикрываю болезненное место локтем от буйных лап её малышей. Они снуют вокруг, не понимая, что маме нужно время, чтобы восстановиться.

— Скоро всё пройдёт, красавица. Ты справилась. Ты молодец. — Глажу её за ухом.

Завершаю работу. Отряхиваю колени, стирая невидимую усталость. Закрываю вольер.

Машу малышам на прощанье. Они подпрыгивают, пытаясь дотянуться до моей руки сквозь калитку.

— Утром вернусь и принесу вкусняшки, как и обещала.

Поворачиваюсь и иду к выходу. По пути меня останавливает Дарина.

Она работает здесь на постоянной основе. У неё лёгкая походка и неизменная улыбка. Ярко-рыжая копна волос и зелёные глаза. Она как солнечный луч, пробившийся сквозь облака. Моё первое впечатление о ней полностью совпало с реальностью: такие люди держат любовь на своих плечах — и делятся ею с другими.

Дарина улыбается мне — и я улыбаюсь в ответ.

— Арин! Ты всё на сегодня?

Она идёт мне навстречу, вытирая руки о ткань фартука. Её голос мягкий, но в нём слышится удивление — обычно я задерживаюсь здесь. Дарина в курсе, что я ищу повод не идти домой.

— К сожалению, да. — Отвечаю я. Мои плечи опускаются. — Хотелось бы остаться подольше. Но сегодня служба в церкви. — Слова оставляют на языке горький привкус.

Дарина кивает. В её глазах — понимание. Она не осуждает, не давит. Это самое редкое, что у меня есть.

— Ты помогаешь тут по доброй воле. — Она задумчиво смотрит на клетки с кошками. — Я думаю, тебе стоит подумать об учёбе на ветеринара в серьёз, а не просто мечтать.

Одно предложение — и внутри что-то замирает.

Дарина вытягивает наружу то, о чём я боюсь думать вслух.

Я хочу этого. Так сильно, что пальцы начинают дрожать, когда я представляю: белый халат, животные на осмотре. Я хочу лечить. Хочу спасти.

— Я очень хочу этого, подруга. — Искренне отвечаю, глядя ей в глаза. — Но наследие семьи никто не отменял. — Переступаю с ноги на ногу.

— Помню, помню. — Она слегка наклоняет голову, и на её губах появляется улыбка. Та, от которой вмиг на душе становится легче. — Может, всё-таки Патрик поймёт всё сам чуть позже.

Я замолкаю.

Мы обе знаем: Патрик — мой отец — не понимает ничего, что выходит за рамки его убеждений. У него есть план. Маршрут. Карта моей жизни, которую он нарисовал задолго до моего рождения. И в этой карте нет места ветеринарной клинике, шерсти и рукам, перепачканным в лекарствах.

Там есть церковь.

Там есть долг.

Там есть я — послушная, правильная, его наследница.

— Мне пора. — Я поднимаю ладонь.

Дарина хлопает по ней своей. Это наш дружеский жест — короткое прикосновение, обещание новой встречи.

— До встречи, Арин.

Я направляюсь к выходу.

Выхожу на дорогу за территорию приюта. Камни скользят под подошвой, и я чувствую, как на лице непроизвольно появляется улыбка. Поднимаю голову к небу. Оно безоблачное. Голубое. Чистое. Ирландский ветер касается кожи — нежно, почти робко. Играет с прядями, выбившимися из хвоста, треплет их, путает.

Свобода.

Я закрываю глаза на секунду. Просто чтобы впитать этот момент.

И тут — шум реки.

Он доносится слева, из-за деревьев. Ровный, успокаивающий гул, который я узнаю из тысячи других звуков. Он просачивается сквозь листву, сквозь ветер, сквозь годы, что прошли с тех пор, как я слышала его вот так — без спешки, без чувства вины.

Меня накрывает воспоминанием.

Оно приходит не картинкой, а ощущениями в теле. Я чувствую, как моя маленькая ладонь сжимается в другой — маминой. Мы гуляем вдоль берега. На мне смешное платье, которое она сшила ко дню рождения, и оно велико на размер. Она смеётся и говорит, что я вырасту.

Мы пускаем бумажные кораблики. Я смотрю, как их уносит течением, и мне кажется, что они плывут в другую страну, где всё по-другому. Мы танцуем босиком на мокрой траве — трава щекочет ступни, мама кружит меня за руки, и мир вертится. Мы ныряем в реку вместе с другими детьми из городка — вода обжигает холодом, но мы выныриваем и смеёмся, потому что это и есть счастье.

Простые игры. Лёгкие мечты.

Пока папа не видел.

Он осуждал нас. Считал это кощунством — эти танцы, этот смех, эту легкость бытия. Я помню его лицо в дверном проёме, когда мы возвращались мокрые, счастливые, с листьями в волосах. Он молчал. Но его молчание было громче любых слов.

Мама знала. Она понимала его по-своему — знала, что он слишком строг в своих ограничениях, что его вера — это не столько любовь, сколько правила. Она не осуждала его в ответ. Она просто брала меня за руку и уводила в те моменты, которые были только нашими.

Вопреки всему, я знаю: мама была права.

Иногда счастье — это маленький бунт.

Проверяю время на телефоне. Экран загорается, цифры впиваются в сетчатку: пять минут. Всего пять минут, чтобы навестить место силы.

Порыв ветра ударяет в лицо. Волосы развеваются, закрывают обзор — но я не поправляю их. В этом движении — вся свобода, что пульсирует внутри.

Я срываюсь с места и бегу.

К реке. К берегу. К тому месту, где мама всё ещё держит меня за руку, где смех не стал грехом.

Тепло солнца переплетается с прохладой воды в воздухе. Они смешиваются, создавая тот самый ирландский коктейль, от которого кружится голова. Я бегу, и каждый шаг отдаётся в груди стуком сердца.

Бег — это освобождение.

И в этой вечной суете — между службами, приютами и долгом — есть место для тишины. Для памяти. Для той силы, что хранит самые светлые мгновения из прошлого, как драгоценные камни в шкатулке, которую никто не откроет, кроме меня.

Мама учила меня, что счастье не надо заслуживать. Счастье надо просто взять — и спрятать в себе, как камушек в кармане. И носить всегда с собой.

Спускаюсь под мост. Солнце сюда почти не достаёт.

Здесь лежит срубленное дерево из года в год — превратившись в импровизированную скамейку.

Я сажусь. Снимаю кроссовки. Носки касаются травы, а затем я опускаю ноги в реку.

Первое прикосновение воды перехватывает дыхание. Ласкает кожу, тепло поднимается выше по икрам.

Течение ласково оmyвает ступни, играет с пальцами, пытается убаюкать.

Я закрываю глаза. Запрокидываю голову назад.

В ушах — только шум воды и редкие птичьи трели.

Ни звонков. Ни голосов.

Тишина.

Любовь к миру — острая, почти болезненная — сжимает сердце.

Несмотря на непринятие семейного долга, вера внутри меня есть. Она кричит. Но не та, о которой говорит отец. Моя вера — здесь.

Как можно допускать тёмные мысли здесь, когда вокруг столько света и красоты?

Нам разрешено видеть. Чувствовать. Слышать. Это уже чудо.

Треск ветки.

Сердце подпрыгивает куда-то к горлу. Я открываю глаза — и замираю.

В нескольких метрах от меня, со стороны тропинки, к реке спускается парень.

Он держит в руках пакет из местного магазина, присаживается на корточки прямо у кромки воды. Опускает ладони в реку. Набирает воду и умывается. Резко. С силой. Смывает с лица что-то невидимое, а затем мокрой ладонью ведёт к шее.

Жест настолько естественный, что я чувствую его почти физически.

Мой взгляд падает на его кисть.

Татуировка. Тонкий чёрный узор оплетает до костяшек.

В ушах — наушники. Садится на камень. Достает из пакета бургер. Начинает задумчиво жевать, глядя куда-то вдаль перед собой.

Я пользуюсь моментом и рассматриваю его.

Чёрная футболка облегает торс. Чёрные спортивные штаны, чёрные кроссовки. Он словно пытается слиться с тенями.

Строгие черты лица: чёткая линия челюсти, прямой нос, чуть сжатые губы. Ему примерно столько же, сколько мне. Может, на год-два старше.

Он пришёл сюда, чтобы побыть одному. Я это чувствую.

Два желания борются во мне: остаться незамеченной и понаблюдать за ним — или исчезнуть, пока он не обернулся.

Я выбираю второе.

Надеваю кроссовки, не завязывая шнурки, и медленно начинаю обходить его по широкой дуге. Трава пружинит под подошвой.

Но вдруг он снимает наушники. И оборачивается.

В тот самый момент, когда я прохожу прямо за его спиной на расстоянии метров пяти.

Я замираю.

Смотрю прямо в его глаза — и ноги вязнут в земле. Он проходит по мне взглядом с ног до головы за долю секунды — и я чувствую себя прочитанной от его пронзительного взгляда.

Внутри зарождается пустота.

Но она не моя.

Она перетекает в грудь от него — через этот взгляд, через расстояние в несколько метров, через воздух, который вдруг стал слишком плотным. Она заполняет лёгкие, становится моей. Я впитываю её, как губка, и не могу остановиться.

Но я не отвожу глаз.

Я узнаю его. Шон Маккарти. Он недавно освободился из заключения.

В Ратморе все друг друга знают — это неизбежно, когда население пересчитываешь по пальцам. Шона я видела обычно издалека.

— Извини, я не услышал тебя. Не хотел пугать. — Говорит он спокойно. Чуть глухо. С иронией, которая балансирует на грани искренности — так тонко, что невозможно понять, издевается он или правда сожалеет.

Я осекаюсь. Напрягаюсь от собственной реакции — оттого, что тело откликается раньше, чем голова успевает придумать, что делать.

— Ты меня не напугал. — Я прокашливаюсь. — Просто не ожидала, что ты заметишь меня. Мне показалось, что ты хочешь побыть один и... — На последнем слове замолкаю.

Уголок губ Шона дёргается вверх, но в этой усмешке нет тепла. Задумчивость исчезает из глаз — сменяется чем-то более жёстким. Колким. Я почти физически чувствую, как между нами вырастает стена.

— К чему это враньё, Келли? — Резко. Прямо. — Почему нельзя просто признать, что относишься ко мне предвзято, как и все в этом городе?

В его голосе — вызов. Он бросает его мне, как перчатку, и ждёт, подниму ли я.

Внутри возникает странное ощущение: подтекст его слов несёт что-то важное. Это как когда человек нуждается в помощи, но молчит об этом, боясь остаться неуслышанным.

— Почему я должна к тебе так относиться? У каждого своё мнение. — Я скрещаю руки на груди. Плечи напрягаются, подбородок вверх. — Я не знаю тебя так близко, чтобы понять, какой ты человек.

— Странно, — отвечает он.

Одно слово повисает в воздухе. Оно не закрывает разговор. Оно открывает что-то другое. И в этот момент у меня срабатывает чутьё. Я вдруг понимаю: эта встреча — не случайность.

Мои планы меняются мгновенно.

Маккарти напоминает мне тех, кто приходит в церковь на исповедь. Они стоят в тени, прячут глаза, и их голоса срываются, когда они пытаются произнести правду вслух.

Не случайно я оказалась здесь. Именно сейчас.

Я делаю шаг. Второй. Подхожу к нему и присаживаюсь рядом на камень — без разрешения, без приглашения.

— Как ты? — спрашиваю я. Самый простой вопрос, какой только может быть.

Он смотрит перед собой. Ни единого движения. Абсолютное безразличие.

В какой-то момент мне кажется, что он вообще не ответит. Что я так и останусь сидеть здесь, рядом с молчаливым незнакомцем, чувствуя себя полной дурой.

Но всего секунда — и Шон произносит:

— Я провёл год в колонии. Как ты думаешь, как я?

Моё сердце пропускает удар.

Я знаю немного подробностей о том, что он связался с не той компанией. Но всё равно, когда тебе прямо говорят о таких вещах, становится не по себе. Думаю, любой предполагает, что происходит за стенами тюрьмы.

— Фергус и Аманда, уверена, счастливы, что ты наконец-то дома. — Я говорю это не как вопрос. Как утверждение.

— Особенно отец. — Он усмехается. В этой усмешке нет ни капли веселья.

Чуть наклоняется вперёд, кладёт пакет с едой на землю, и я замечаю, как его пальцы сжимаются на секунду — прежде чем отпустить. Словно он отпускает не пакет. А что-то более тяжёлое.

Его мама приходит на каждую службу в церковь. С недавнего времени. До этого у неё были проблемы с ногой, и она не выходила за территорию дома.

А вот его отца я вижу часто на протяжении нескольких лет. Мы встречаемся в продуктовом магазине по вечерам, когда я стою в очереди. Фергус всегда у кассы с неизменной бутылкой дешёвого алкоголя в руке. Он всегда приветлив — кивает, улыбается, спрашивает, как дела.

— Твой отец славный, — говорю я.

— Славный? — Шон фыркает. Поворачивает голову и смотрит на меня с приподнятыми бровями.

Кажется, что я сказала что-то абсурдное. Будто «славный» — самое оскорбительное слово, которое можно применить к его отцу.

— Я ни разу не видела его злым. — Я выдерживаю его взгляд. Добавляю, тщательно подбирая слова. — Только... иногда кажется, что он очень устал.

Маккарти смотрит на меня. Молча. Изучает моё лицо. Пытается найти подвох — трещину, за которой прячется лицемерие, фальшь, игра. А после цокает и отворачивается, снова уставившись в серую гладь реки.

— Не люблю, когда называют вещи не своими именами, — бросает он.

— Ты много ворчишь. — Я наклоняю голову, но Шон не оборачивается. — Тебя что-то гложет?

Желваки на его скулах напрягаются. Глаза хмурятся, между бровями пролегает глубокая складка. Он игнорирует мой вопрос — ответ на который мы оба и так знаем.

— Я вижу каждый день тех, кому нужно выговориться, — продолжаю я. — Каждый выходит после исповеди окрылённым. Я не священник, но могу выслушать.

Я кладу руку ему на плечо. Простое прикосновение. Почти дружеское. Лёгкое, ничего не значащее. Но он реагирует так, если бы я его ударила.

Всё его внимание мгновенно переключается на мой жест. Шон смотрит на мою ладонь — и замирает. Как будто до него дотрагиваются впервые в жизни. Или наоборот — для него это триггер.

— Ты слишком «чистая» для того, чтобы чистить ещё и мою голову, — выдыхает он. В голосе — горькая ирония.

— Я не говорю, что я... — Я начинаю, но взгляд падает на собственные колени.

Спортивные штаны после уборки в вольере выглядят грязно. Неудачный контраст с тем, что он только что сказал.

Боже. Какой абсурд.

— Если человеку не хочется, чтобы ему помогали, то ему ничего и никто не поможет, — говорю я мягко, несмотря на внутреннее раздражение, которое начинает закипать где-то в груди.

— Ты что-то типа морального компаса или кто? — Шон резким движением плеча сбрасывает мою руку. — Я не просил о помощи, особенно от здешней проповедницы. Я пришёл сюда просто поесть, чтобы немного отдохнуть после смены. — Каждое слово он цедит сквозь сжатые зубы.

Его зрачки расширяются, и светлые глаза кажутся почти чёрными. Тёмными, как вода в омуте — та, что не отражает дна.

В воздухе между нами потрескивает напряжение — я чувствую его кожей, как перед грозой. Волоски на руках встают дыбом, и я понимаю: его боль — не моя. Я не смогу её исцелить, если он сам не откроет дверь.

Мне становится невыносимо рядом с ним.

Это как биться об стену, заранее зная, что у тебя не хватит сил её пробить. Каждое слово отскакивает рикошетом, возвращаясь ко мне с утроенной силой.

Я фыркаю. Прямо ему в лицо. Звук вырывается сам собой — резкий, пренебрежительный, полный той злости, которую я даже не пытаюсь скрыть. Поднимаюсь и молча ухожу.

Сухая листва под ногами отлетает от кроссовок в стороны при каждом шаге. Хрустит, рассыпается — хочет выдать моё состояние. Я иду быстро, почти бегу, не оглядываясь.

Но на ходу злость просыпается с новой силой. Я стискиваю зубы так, что челюсть сводит.

Останавливаюсь на дороге. Кладу руку на сердце — оно колотится, хочет вырваться наружу. Я чувствую его в кончиках пальцев, в висках, в шее.

Глубокий вдох. Потом ещё один. Но это не помогает.

Оборачиваюсь назад.

Шон сидит на том же месте. Смотрит на реку — словно меня здесь и не было.

Никогда раньше не ощущала подобного. В сознательном возрасте — точно нет. Эта смесь злости, любопытства и странной, тянущей боли, которая не даёт покоя. Которая пульсирует где-то в груди, как второй пульс.

Телефон в кармане начинает звонить.

Вибрация отдаётся в бедро, выдёргивая меня из оцепенения. Я смотрю на экран — «Отец».

— Арин, где ты? — Его голос звучит взволнованно, с той знакомой ноткой напряжения, которая появляется, когда я опаздываю.

Когда я выхожу за рамки.

— Я уже бегу, пап. — Прижимаю телефон к уху и срываюсь с места. Бросаю прощальный взгляд на берег — мельком, через плечо.

— Не опаздывай.

Короткие гудки.

Убираю телефон в карман и продолжаю бежать. Пытаюсь догнать упущенные минуты. Я переключилась на проблемы незнакомого парня и забыла о своей ответственности.

О долге, который висит на плечах тяжелее любого груза.

Глава 2

Арин Келли

Можно быть чужим в семье — не понимать близких, но чувствовать причастность. Именно эта причастность просит нас отложить свои мечты. Правильно ли это?

Ноги несут меня к дому. Дыхание сбивается, но я не сбавляю темп.

Влетаю в калитку, и она хлопает по забору за моей спиной — глухой удар разносится по двору.

Звук, который означает: «Ты дома».

Двухэтажный дом из светлого камня, большие окна, в которых отражается небо. Кровля чуть потертая временем — отец говорит, что это придаёт дому характер.

Вокруг — лужайки, аккуратный сад.

Красиво. Ухоженно.

Я стою перед этим домом, тяжело дыша, и чувствую, как он давит на меня своим весом.

Своей правильностью.

У двери — клумбы с насыщенной зеленью. По сторонам — стойка с полками для садовых инструментов и корзинами со свежими овощами. Всё дышит порядком. Тем миром, который родители строили годами — камень за камнем, цветок за цветком, молитва за молитвой.

Я не обращаю на это внимания.

Всё меркнет перед внутренним хаосом. Перед тем вихрем, который поднялся во мне за последние пятнадцать минут и никак не хочет улечься.

Останавливаюсь на пороге, пытаюсь отдышаться. Провожу рукой по вспотевшему лбу. Вхожу внутрь.

На пороге сталкиваюсь с отцом. Впечатываюсь лицом ему в грудь, и крест на его шее впивается мне в лоб — металл холодит кожу. Запах ладана, въевшийся в ткань его одежды, ударяет в ноздри. Тяжёлый. Густой. Знакомый до тошноты.

Отец придерживает меня за плечи. Как всегда — твёрдо и уверенно.

Я делаю шаг назад, касаясь лба рукой.

— Арин, что тебя задержало? Всё в порядке? — Он поправляет фелонь — тёмную, с золотым шитьём.

Он готов к службе. Он всегда готов. Всегда на месте. Всегда в рамках.

— Задержалась в приюте. Там щенки... и их мама... — Слова вылетают сбивчиво. Дыхание всё ещё не восстановилось после бега.

— Ты ставишь приют выше Бога. — Левая бровь возмущённо приподнимается. Его голос звучит в той самой праведной, недовольной манере, которую я знаю с детства.

Упрёк. Тонкий, как лезвие, но точный.

Обычно я пропускаю такие слова мимо ушей. \

Привыкла. Научилась. Но сегодня внутри всё кипит.

Воспоминание о неожиданной встрече с Шоном Маккарти. О брошенном мне вызове. О моём собственном бессилии, когда я стояла на берегу и не могла пробить стену, которую он выстроил. Всё это смешивается в одну взрывоопасную смесь, которая ищет выход.

И я огрызаюсь.

— Бог — это высшее благо. Приют — это работа во благо.

Отец смотрит на меня долго. Внимательно.

— Но он не должен противоречить благу, которое ты делаешь для всего города. — Давление в его голосе нарастает. — Переодевайся скорее. Иначе я пересмотрю своё разрешение насчёт твоей одежды при выходе из дома.

Он слегка дёргает за рукав моего спортивного костюма. Жест собственнический. Унизительный. Для него я ребёнок, которого нужно одёрнуть, поставить на место, напомнить, кто здесь главный.

Отец открывает дверь, собираясь выйти. Но моя следующая реплика останавливает его. Она вырывается прежде, чем я успеваю подумать.

— Как я могу быть в платье, убирая дерьмо за животными? — Сарказм сочится из каждого слова. — Мне очень интересно, как ты себе это представляешь?

Отец замирает. Поворачивается ко мне. Он наигранно хмурится — я знаю это выражение. Это его «я разочарован, но пока контролирую ситуацию».

— Арин, что за выражение? С тобой точно всё в порядке? Упаси Бог, если ты начинаешь дерзить родному отцу. Надеюсь, это юношеский максимализм.

Я осекаюсь.

Не помню, когда в последний раз дерзила ему. Я всегда стараюсь быть послушной дочерью. Правильной. Удобной. Но сейчас я чувствую, что на грани. Ещё одно слово — и я разлечусь на осколки, которые невозможно будет собрать обратно.

— Чёрт! — Я тут же зажимаю рот рукой, но слово уже висит в воздухе. Недопустимое в этом доме. — Прости, пап! Это, видимо, ранний подъем. — Провожу ладонями по лицу. Кожа под пальцами горячая. — Я буду готова через три минуты. Встретимся в церкви.

Целую его в щеку и срываюсь в свою комнату.

Это единственный способ избежать продолжения разговора. Единственный способ не сказать того, о чём потом пожалею.

Быстро поднимаюсь по лестнице на второй этаж. Ступеньки скрипят под ногами — каждый звук отдаётся в висках. Влетаю в комнату, прислоняюсь к двери спиной и закрываю глаза.

Щелчок замка. Тишина.

В душе нарастает внутренний бунт. Он кипит где-то в груди. Протест против правил и ограничений отца. Против длинных платьев, против службы, против всего этого дома, который давит на плечи.

Но я знаю: это часть моей жизни. Часть нашей семьи. И я смиренно подавляю этот бунт. Как делала всегда.

«Отец явно перегибает палку».

Голос в голове — не мой. С лёгкой хрипотцой, с той интонацией, которая умела умирять мою злость на всё происходящее в этих стенах. Та, кто умела превращать строгость отца в мягкость одним лишь взглядом, одним прикосновением, одной улыбкой.

Моя мама. Эшлин Келли.

Я закрываю глаза — и вижу её. Светлые волосы, рассыпанные по плечам. Руки в муке, когда она месила тесто на блины по утрам. Её смех — звонкий, настоящий, тот самый, который отец считал слишком громким.

Её сбила машина. Прямо напротив нашего дома.

Мама шла из церкви — возвращалась с утренней службы, держа в руках молитвенник. А автомобиль вылетел из-за поворота, даже не притормозив.

Я не видела этого. Но я представляла это тысячу раз. Каждую деталь. Каждую секунду. Каждый звук.

Это первый случай — и, мне кажется, единственный, — когда я была готова желать смерти человеку.

Отец смиренно молчал. Молчит до сих пор. Ни слова осуждения, ни проклятия в адрес того, кто забрал у нас самое дорогое. Иногда мне кажется, он простил его. Хотя всё произошло на его глазах. Отец выходил из церкви, когда это случилось.

Но я точно не могу простить подобных — тех, кто забирает чужую жизнь таким опрометчивым способом: напиться за рулём и устроить форсаж по нашему тихому городку.

Даже сейчас я стою у двери своей комнаты и чувствую, как прошлое сжимает горло холодными пальцами.

Мамы нет.

Я открываю глаза.

Комната та же, что и всегда. Книжные полки вдоль стены — корешки потрёпанные, некоторые мамнины, некоторые мои. Кровать с льняным покрывалом, которое она выбирала, когда мне было семь.

Всё здесь дышит ею. Прошлым, которое я несу в себе, как шрам. Шрам, который никогда не заживёт до конца.

Я точно знаю: молчание отца — не безразличие. Он любил маму. Любит до сих пор. Моё детство проходило в любящей семье. Где мама пела по вечерам, а отец делал вид, что не замечает её мелодий. Но краешки его губ подрагивали в улыбке.

Я видела, как его глаза потухли в тот день.

Он сидел рядом с телом матери на дороге. Не обращая внимания на толпу, на мигалки скорой, на людей, которые пытались оттащить его. Он просто сидел и истошно звал её.

Я слышала, как он молился после похорон. Не в церкви. В своей комнате. Когда думал, что я сплю. Его голос срывался от слёз.

Я видела, как каждый раз, выходя из дома, он замирает на пороге. Смотрит на то место, где восемь лет назад лежало переломанное тело его любимой жены. В его глазах застывает немая, невысказанная боль, которая не проходит с годами.

Несмотря на всё, что он переживает по сей день, он остаётся верен своему статусу. Встаёт до рассвета. Служит. Принимает прихожан. Утешает чужие скорби. Он отдал всю жизнь церкви, построенной ещё его дедом.

Настоящее семейное достояние. Которое висит на моих плечах — тяжёлым, расшитым золотом покровом.

Родиться в семье верующих — гордость в наше время. Я понимаю это. Вера даёт опору. Она учит прощать, любить, быть терпимой. Она — тот стержень, который держит людей, когда всё рушится. Но я никогда не хотела утонуть в ней.

Не хотела, чтобы вера стала клеткой, в которой мои крылья сложены так плотно, что уже начинают болеть. Когда я перестаю чувствовать кончики пальцев. Когда каждое движение отзывается болью в суставах — потому что они отвыкли расправляться.

Иногда хочется вкусить запретное.

Просто почувствовать свободу. Настоящую. Не ту, что дозируется и контролируется, не ту, что выдают порциями между проповедями.

Мне хочется носить то, что хочется. Идти туда, куда зовёт сердце, не оглядываясь на чужое мнение. Ошибаться. Падать. Вставать. Не спрашивая разрешения.

Как любому человеку, мне хочется быть причастной к своему времени, к своему поколению.

Но я — дочь Патрика Келли.

И каждое моё решение взвешивается на весах, которые установили задолго до моего рождения.

Пока мама была жива, она была моим адвокатом перед отцом. Моим мостиком в мир.

Я могла одеваться как хочу. Гулять до позднего вечера со сверстниками. Чувствовать себя обычным ребёнком. Я носила короткие шорты, дурацкие футболки с мультяшными принтами, и никто не говорил мне, что это неприлично.

Вся эта свобода закончилась в тот день, когда мне было десять.

Когда её не стало, отец захлопнул все окна, через которые в мою жизнь мог проникнуть ветер перемен. Чтобы я осталась в тепле его правил.

Единственное разрешение — спортивный костюм на подработку в приют. И то — закрытый до шеи. Без вырезов. Без намёка на женственность.

Для него это способ выстроить границу между мной и реальностью, от которой он старается меня оградить. Он думает, что если оденет меня в броню из правил, я останусь в безопасности.

Только для чего?

Можно быть верующим добродетелем, просто нося веру внутри. Можно любить Бога и не запираť себя в клетку. Можно служить и быть свободной.

Но ему это не докажешь.

Я люблю своего отца. Уважаю. Ценю.

Я знаю: он делает для меня всё во благо. Даже когда это душит.

И я отдаю ему дань за это. В виде подчинения.

Глубоко вдыхаю. В комнате пахнет ромашками и книгами. Мама говорила, что книги пахнут другими жизнями. Что, открывая их, ты проживаешь то, что тебе не разрешено в реальности.

Но сегодня это всё не помогает.

Потому что сегодня я встретила того, чьи глаза смотрели на меня с такой же болью, какую я ношу в себе. Боль непонимания. Непринятия. Я узнала её. Того, кто посмел назвать меня «чистой» с презрением.

Я подхожу к шкафу. Открываю дверцу.

Внутри, на вешалке, висит платье. Тёмное. Закрытое. С высоким воротом. Длинное, до самого пола — чтобы ни одна часть меня не вызвала вопросов.

Моя униформа на сегодня.

Я стягиваю спортивный костюм. На миг застываю перед зеркалом в одном белье. Разглядываю себя. Руки. Плечи. Ключицы — те, что обычно спрятаны от чужих глаз.

Потом натягиваю платье.

Ткань колется. Сковывает движения. Напоминает, кто я есть. Или кем я должна быть.

В отражении — девушка, играющая роль. Послушная дочь. Примерная прихожанка. Органистка на воскресной службе.

Но внутри бушует шторм. И я не знаю, сколько ещё смогу его сдерживать.

Через три минуты я выхожу из дома.

Иду знакомым маршрутом. Шаги размеренные. Платье стягивает движения, но я привыкла.

Через дорогу — церковь.

Её силуэт блестит на солнце, и в этот миг она кажется самым волшебным местом в городе. Острая крыша стремится в небо, пронзая облака, пытаюсь дотянуться до чего-то невидимого. Золотистые лучи окутывают здание, и оно вспыхивает слоем искрящегося металла, подсвеченного изнутри.

Вокруг — аккуратный каменный фасад, украшенный резьбой: завитки, арки, фигуры святых, глядящих пустыми каменными глазами. Окна играют светом и тенью, рождая узоры, что никогда не повторяются.

Красиво. Всегда было красиво.

А я — тень, бредущая между двумя мирами. Принадлежа обоим и ни одному до конца.

Восьми лет достаточно, чтобы усвоить искусство обманывать память.

Это как плести маски — тонкие, почти прозрачные, за которыми прячешь воспоминания, чтобы они не разъедали тебя изнутри. Со временем учишься улыбаться, когда хочется плакать. Отвечать «всё хорошо», когда внутри — чёрная дыра, засасывающая свет. Говорить «я в порядке» голосом, в который верят.

Но тело помнит. Тело не обмануть.

Оно помнит каждую боль. Каждую слезу. Каждый удар сердца, замиравшего в тот момент. Оно помнит температуру воздуха в тот вечер, звук удара.

Я смотрю прямо перед собой. Не отвлекаясь. Ни на птиц, ни на облака, ни на соседку, поливающую цветы у калитки.

Я знаю: следующий шаг — не просто движение.

Это граница между прошлым и настоящим, которую я пересекаю каждый раз, когда иду на службу.

Там. Посреди дороги. Именно в этом месте, восемь лет назад, мамина душа ускользнула в небеса. Туда, где, как говорит вечная мудрость, «души уходят, лишь чтобы снова оказаться дома».

Я повторяла эти слова тысячи раз. Пыталась найти в них утешение. Пыталась поверить, что она правда дома, что ей лучше, что это не конец.

Но они не заполняют пустоту. Они не возвращают её голос по утрам. Её руки, когда она гладила меня по голове перед сном.

Это место на дороге между домом и церковью — не только боль отца. Моя тоже.

Она впиталась в асфальт. Въелась в землю под ним. Вросла корнями в этот клочок ирландской земли.

Я могла бы обойти этот промежуток. Пройти по другой стороне улицы, сделать вид, что этого места не существует. Но вместо этого я смотрю перед собой и иду. Потому что бегство не лечит. Я это знаю.

И вот я наступаю на ту точку на планете Земля, где мамина душа ушла к Богу.

Мои руки сами сжимаются в кулаки. Ногти впиваются в ладони — резкая боль возвращает меня в реальность, не даёт провалиться. В центре грудной клетки что-то начинает ныть и сжиматься — как невидимая рука стиснула лёгкие и не отпускает.

Воздух застревает где-то в горле. Не проходит дальше.

Вспыхивают кадры. Яркие. Как вспышка фотоаппарата, которая выжигает изображение в памяти глаз, и оно остаётся там навсегда.

Восемь лет назад.

Тянусь к ветке, где соцветие сирени пышнее, чем на других. Мама ее очень любит.

Мне нужно три таких ветки. Тогда букет будет готов.

Мама каждый раз ругается, когда я рву сирень, свешивающуюся на наш участок. Она говорит: «Это соседская, Арин. Нельзя брать чужое, даже если оно кажется твоим». Но я не понимаю. Если ветка свисает к нам, если она касается нашей стороны забора, разве это не считается нашим наполовину?

Я срываю две ветки.

Пальцы чувствуют, как хрустит стебель, как сок остаётся на коже. Смотрю в сторону церкви. Мама и папа должны с минуты на минуту вернуться.

У меня есть буквально минута, чтобы сорвать ещё одну ветку — пока мама не появилась и не начала ругаться. Но я знаю: как только она увидит букет, она улыбнётся.

Я тянусь к ветке, которая попадает на глаза. Срываю её.

И в ту же секунду слышу глухой удар.

Он врежется в мою грудь раньше, чем мозг успеет осознать. Свист шин об асфальт — резкий, визгливый. Звук, который не спутаешь ни с чем. Который запоминается навсегда, въедается в память, как раскалённое тавро.

Смотрю в сторону дороги.

Машина удаляется. Чёрный силуэт, тающий за поворотом, замирающий на секунду перед тем, как исчезнуть.

А мамы и папы нет.

Я выхожу из сада. Ноги не слушаются, но они несут меня вперёд. Ветки сирени дрожат в руках, лепестки осыпаются на землю, на дорожку, на мои босые ступни.

— Эшлин! — доносится до меня голос отца со стороны дороги. Голос срывается, разбивается о воздух осколками.

Я иду к калитке. Мне страшно. Так страшно, что внутри образуется вакуум — пустота, которая засасывает все звуки, все чувства, все мысли.

Люди уже толпятся на дороге. Соседи, прохожие. Кто-то кричит. Кто-то крестится. Женщина в халате закрывает рот руками. Где-то вдалеке — вой сирены.

А мамы нет.

Я чувствую: сейчас увижу самую страшную картину в своей жизни. И не могу остановиться.

— Эшлин! Любимая! Тебе помогут! Скорая скоро будет! — Голос отца срывается в истерику.

Он стоит на коленях. Он стоит в луже крови. Рядом с ней.

Я выглядываю из-за спины соседки. И наконец вижу маму.

Её руки и ноги лежат под неестественным углом. Волосы — в крови. Она растекается по асфальту, по любимому платью, которое она надевала только по воскресеньям. Платье порвано, и красные пятна проступают на нём, как дикие цветы на снегу. Яркие. Страшные. Живые.

Какое-то время моё тело немеет. Оно не даёт двинуться с места. Ноги приросли к асфальту. Руки приросли к веткам.

— Мам? — говорю я еле слышно.

Воздух застревает в горле, не желая проходить наружу. Глаза моментально обжигают слёзы. Всё расплывается, но я всё равно вижу её.

Отец резко поднимает на меня взгляд. Его глаза красные, полные такого отчаяния, что я никогда раньше не видела у взрослых. Они не должны так смотреть. Взрослые не должны быть такими сломленными.

— Арин?

Он срывается с места и хватает меня на руки. Прижимает к груди так сильно, что становится больно. Я чувствую, как его сердце колотится. Как его плечи трясутся. Как слёзы падают мне на голову.

— Закрой глаза! — Его голос переходит в крик сквозь слёзы. — Всё будет хорошо, слышишь? Всё будет хорошо! Я с тобой!

Но я не закрываю глаза.

Я смотрю на маму. Сквозь пелену слёз и дрожащий воздух, сквозь звук сирены, сквозь крики соседей, сквозь отца, который держит меня крепко.

Ветки сирени рассыпались рядом с ней, когда отец подхватывает меня. Белые, фиолетовые, розовые соцветия — они лежат на асфальте рядом с её рукой.

Я всё-таки успела подарить ей этот букет.

Только в этот раз я не увидела её улыбку в ответ.

Я моргаю.

Видение исчезает. Асфальт снова становится асфальтом. Сирень исчезает. Кровь впитывается обратно в память.

Но боль остаётся.

Она пульсирует в груди, напоминая: время не лечит. Оно просто учит жить с раной. Носить её внутри, как второй скелет, как орган, который не перестаёт болеть, но без которого ты уже не существуешь. Ты привыкаешь к этой боли. Учишься дышать поверх неё. Но она всегда здесь — ждёт момента, когда ты забудешь о ней, чтобы напомнить.

— Не смей. — Голос в голове звучит жёстко. Почти грубо.

Это не утешающие слова. Не «всё будет хорошо». Не «она сейчас смотрит на тебя с небес». Это прямой приказ. Приказ, который я отдаю себе каждый раз на этом месте.

Не смей рассыпаться. Не смей останавливаться. Не смей поворачивать назад.

Выпрямляю спину. Расправляю плечи так, что лопатки сходятся вместе, и в спине возникает напряжение — почти боль. Но это боль силы, а не слабости.

Поднимаю подбородок. Смотрю прямо перед собой.

Вхожу в церковь. И так — каждый раз. Я прохожу этот путь. Наступаю на эту точку. Впускаю в себя воспоминание. И делаю шаг вперёд.

Потому что для нас с отцом мама всегда с нами. В воспоминаниях — та яркая, жизнерадостная женщина, которая смеялась громче всех и танцевала под дождём. Но в физическом образе, застывшем в моей памяти навсегда, — переломанное тело в пыли дороги.

Дверь поддаётся с лёгким скрипом. Знакомый полумрак окутывает меня, как вода. Стены из тёмного камня хранят сотни незаметных историй. Если бы они умели говорить — сколько слёз и признаний они бы поведали? Сколько тайн, сказанных шёпотом в темноте, впиталось в эти камни?

Витражи с яркими узорами пропускают мягкий свет. Он превращается в золотистые полосы, играет на каменном полу и стенах. Они движутся, танцуют, создают узоры, которые никогда не повторяются.

Деревянные лавки чуть покосились — их поверхность отполирована сотнями прихожан, сидевших на них часами. Каждая впадина — это чья-то спина, чья-то молитва, чья-то усталость.

Вокруг алтаря свечи. Каждый огонёк — это чья-то надежда. Чья-то молитва, которая не угасла.

В воздухе пахнет старой древесиной, воском и лёгким оттенком цветов, оставленных прихожанами. Горьковато-сладкий аромат, въевшийся в каждую щель здания. Я знаю его с детства.

Я прохожу сразу к органу.

Мои шаги эхом отдаются под сводами, и я чувствую, как пространство принимает меня. Как оно узнаёт мою походку, моё дыхание, мои руки.

Орган. Огромный, тёмный, с трубами, уходящими вверх, под самый потолок. Он стоит здесь дольше, чем я живу. Он видел тысячи служб, миллионы молитв.

Но когда я сажусь за него, он становится только моим.

Я провожу пальцами по клавишам — знакомым до каждой царапины. Этот инструмент — мой мост между землёй и небесами. Между реальностью и верой, которая даёт надежду на жизнь без ограничений.

Когда я сижу за ним, я перестаю быть просто Арин, дочерью священника. Я становлюсь голосом, который говорит без слов.

Закрываю глаза и начинаю играть.

Орган не лжёт. Он не умеет притворяться. В каждой ноте — правда, которую я не могу сказать вслух. И когда мои пальцы касаются клавиш, я перестаю быть послушной дочерью. Я становлюсь собой.

Первый аккорд вырывается через пальцы, через костяшки, через запястья — и заполняет пространство. Это не просто звук. Это я. Вся я, без остатка, без фильтров, без масок.

Каждая нота идёт из сердца. Поднимается откуда-то из самой глубины — где живут мои страхи, мои мечты, моя боль. Она проходит через позвоночник, через грудную клетку, через руки — и вырывается наружу, становясь чем-то большим, чем я сама.

Я чувствую, как внутри загорается искра. Вера. Не та, о которой говорит отец. Другая. Та, что не требует слов. Та, что живёт в вибрации струн, в резонансе дерева, в гуле труб, уходящих под потолок.

В этот момент всё вокруг исчезает. Нет больше отца. Нет строгих правил. Нет сирени на асфальте. Нет боли.

Служба проходит за моей спиной. Я чувствую её дыхание — шорох одежд, приглушённые покашливания, шелест страниц молитвенников.

Я рада, что отец даёт этим людям чувство облегчения. Я вижу, как он улыбается, когда они выходят из церкви, — их лица светятся, они полны энергии, будто скинули тяжёлый груз у его ног.

Но это — не для меня.

Всё это — в таких масштабах — не для меня.

Я знаю это так же точно, как знаю, что завтра взойдёт солнце. Что я никогда не буду той, кого он хочет во мне видеть.

Потому что для меня вера значит другое. Для меня вера — это то, что внутри есть нечто большее, чего никто не может у меня отобрать.

Когда двери церкви наконец закрываются за последним посетителем, я возвращаюсь домой одна.

Папа каждый раз задерживается. Последние молитвы. Проверка свечей. У него есть ритуал, и я его не нарушаю. Это его способ оставаться на плаву. Его способ быть нужным.

Я прохожу дорогу. Просто переставляю ноги. Смотрю прямо. Дышу ровно.

Направляюсь сразу в свою комнату.

В свою личную крепость. Здесь всё просто и честно — без прикрас, без показной роскоши.

Мой взгляд падает на стену — полка с книгами и семейными фотографиями в рамках. Мама улыбается с одной из них: ей там двадцать пять, она стоит в саду, с растрёпанными волосами и счастливыми глазами. На другой — мы втроём на пикнике. Я ещё маленькая, сижу у папы на плечах, и мы все смеёмся.

Настоящие. Живые. Целые.

Я сажусь на кровать. Снимаю платье — расстёгиваю пуговицы одну за другой, высвобождая плечи, спину, шею. Ткань падает на пол бесформенной кучей.

Я успеваю переодеться в домашнюю пижаму.

Три коротких стука в дверь.

— Заходи, пап.

Отец проходит в комнату. Он уже снял фелонь — остался в простой чёрной рубашке. В рубашке он кажется другим. Меньше — священником. Больше — просто отцом.

Перед сном он всегда заходит пожелать мне доброй ночи. Эта традиция длится столько, сколько я себя помню. Даже когда я злюсь на него, даже когда внутри всё кипит от несправедливости — я жду этого момента.

— Что делаешь? — спрашивает он.

Тепло улыбается. В улыбке прячется усталость — глубокая, застарелая, та, что не уходит даже после сна.

— Собираюсь ложиться.

Я параллельно заплетаю непослушную копну волос в косу. Пряди выскальзывают из пальцев, путаются, отказываются слушаться. Я дёргаю их с раздражением — они не подчиняются, как всегда.

— Давай помогу.

Смотрю на него через плечо. В его глазах — что-то из прошлого.

Я распускаю волосы. Локоны падают на плечи, рассыпаются по спине. Протягиваю ему махровую резинку.

После того как мама нас оставила, отцу пришлось научиться заплетать косы.

Я помню, как его большие, неуклюжие пальцы путались в моих волосах. Как он ругался шёпотом, но продолжал, пока не получалось ровно. Как я сидела, стиснув зубы, потому что дёргал он больно, но я терпела — ради него.

Со временем я начала бунтовать. Ходила с распущенными волосами — назло ему, назло всему миру. С лет четырнадцати я заплетаю их только на ночь.

Я сажусь на пушистый ковёр посреди комнаты. Отец ставит стул за моей спиной и садится.

Он аккуратно берёт мои волосы. Расчёсывает спутанные локоны. Его пальцы двигаются медленно, бережно — он держит в руках что-то бесконечно ценное.

— Кудрявые и непослушные, как у мамы, — говорит он тихо.

Я улыбаюсь. Закрываю глаза.

— Зато не смотрятся как тонкие пакли.

Он усмехается — той усмешкой, которую я слышу не ушами, а кожей. Я чувствую, как его руки чуть расслабляются. Как напряжение уходит из пальцев.

— Ваши волосы — отражение характера. Вы обе у меня те непослушные, кто своим бунтарством готовы запутать свои жизни в узлы.

— Мама ведь не была такой, — тихо возражаю я.

— Эшлин была именно такой. — Он поправляет меня без назидания. Без упрёка. — Её сдерживала наша любовь. Я всегда видел, что её тянет в современный мир, полный неуважения и раздора. А вот тебя... — Он замолкает. На мгновение. Я чувствую, как его пальцы замирают на моих волосах. — А вот тебя я ещё не знаю, как обезопасить от всего этого.

Смотрю перед собой. В отражении тёмного окна я вижу нас — две фигуры, соединённые нитью волос. Связанные любовью и болью. Верой и сомнениями.

И я понимаю: он видит во мне мамин бунт. И боится, что я ускользну.

В этот момент мне хочется рассказать ему всё.

Всё, что я чувствую. О чём думаю. Как сильно хочу жить свою жизнь — именно так, как он выражается, «в современном мире». Что моё сердце рвётся не к алтарю, а туда, где я могу лечить, спасать, дарить тепло тем, кто не умеет говорить по-человечески.

Я разворачиваюсь к нему, чтобы не упустить момент. Слова уже собираются на языке, готовые сорваться... Но я вижу его боль.

Она проступает в каждой морщинке вокруг глаз, в опущенных уголках губ. И мои слова рассеиваются, как дым, не успев родиться.

— Пап, я тебя не оставлю.

Фраза вырывается вместо правды. Лёгкая. Пустая. Спасительная ложь.

Сердце бьётся чаще в негодовании — на себя, на свою трусость, на эту ложь во спасение, которую я повторяю каждый раз, когда подхожу к краю правды.

— Обещаешь?

Его голос звучит так тихо. Так по-детски уязвимо, что у меня сжимается горло. Я сгла-
тываю ком, который не даёт дышать.

— Обещаю.

Я крепко обнимаю его, утыкаясь лицом в плечо. Я чувствую, как его рука гладит меня по голове, и я знаю: он улыбается. Я чувствую это по тому, как напряжённые мышцы его спины расслабляются под моими руками.

— Я так по ней скучаю, — шепчет он мне в макушку. Голос срывается. Дрожит. — Если ещё ты уйдёшь... Я сойду с ума. — Каждое слово отдаётся тоской. Режет по живому.

Отец не желает мне зла. Он любит меня так сильно, что боится отпустить. Но он держит меня в клетке, сам того не понимая. И эта клетка построена из его страха, из любви, которая стала цепями.

— Доброй ночи, дочка.

Отец отстраняется. Идёт к двери. Но на полпути резко останавливается, не оборачиваясь.

— Я горжусь тобой. И мама, я уверен, тоже.

Дверь закрывается за ним с тихим щелчком. И я остаюсь одна.

Боль усиливается. Разливается горячей волной, сжимает грудь. Комната становится тесной — стены надвигаются на меня, и я не могу дышать.

Как я его оставляю? Как мне пойти своей жизнью? Как ему объяснить, что я не хочу вести церковь? Что я хочу быть ветеринаром? Как ему объяснить, что в приюте я чувствую больше радости, чем в церкви, где каждый аккорд напоминает мне о долге, который я не выбирала? Как?!

Вопросы мечутся в голове. Бьются о горло, о зубы, ища выход, но натываются на обещание, которое я только что дала.

Я думала, время придёт. Думала, появится подходящий момент, правильные слова, та самая минута, когда я смогу сказать всё, и он поймёт.

Но время идёт. А момент не наступает.

И от этого становится только тяжелее.

Подхожу к окну. Толкаю раму. Ночной воздух врывается в комнату, касается лица прохладой.

Я выбираюсь наружу. Ноги находят знакомый путь по кровле крыши — каждый выступ, каждый стык черепицы известен моим ступням. Там, на вершине этого маленького мира, я сажусь на своё любимое место. На самый край.

Отсюда видно всё. Как в небе мерцают тысячи огней — звёзды, которые не знают правил. Как луна отражается в реке, разбиваясь на серебряные осколки. Как тишина обнимает город, укутывая его в темноту.

В этой тишине сердце наполняется надеждой. Тихой, робкой, но живой.

Она напитывает меня внутренним смыслом, как глоток чистой воды для жаждущей души. Я глубоко вдыхаю, ощущая прохладу ночного воздуха, и в этот миг боль уходит.

Не исчезает. Просто отступает. Давая мне передохнуть.

Папа примет мой выбор, когда придёт время. Он любит меня. Он не позволит мне растрачивать жизнь в несчастье. Он поймёт.

Должен понять.

Когда настаёт пора возвращаться, я тихо спускаюсь через окно назад в комнату. Ноги нащупывают пол. Руки закрывают раму. Ложусь под мягкое одеяло, ощущая, как ткань обнимает уставшее тело. Закрываю глаза.

Я готова.

Полностью готова к завтрашнему дню. К новой встрече с миром, который ждёт меня за пределами этой комнаты. К новым решениям, которые я когда-нибудь найду в себе силы принять.

А пока — просто дышать. И верить, что всё будет хорошо.

Глава 3

Арин Келли

Я сразу увидела его маску. Вопрос был лишь в том, что скрывается под ней.

— Арин, поторопись! — Голос отца доносится с первого этажа.

Утро, которое начинается одинаково из года в год.

Пробуждение. Молитва. Завтрак. Сборы в школу.

Времени осталось совсем немного, чтобы не опоздать, а я всё ещё собираюсь. Пунктуальность — явно не моя сильная сторона. Я никогда не укладываюсь в сроки, внутри меня живёт маленький бунтарь, который отказывается подчиняться даже стрелкам часов.

— Минуту! — кричу в ответ.

Заканчиваю последние штрихи. В сумку ложится чёрная водолазка и юбка — одежда, которую я надену в школе. Она идёт в противовес моему искусственно привязанному призванию.

Ткань скользит под пальцами. Я чувствую, как внутри разливается предвкушение. Скоро я сниму с себя эту броню.

Но сначала натягиваю светло-серое длинное платье — очередное из тех, что составляют мой гардероб, одобренный отцом. Оно закрытое, до щиколоток, с длинным рукавом. Красивое. Но чужое.

У зеркала в коридоре я останавливаюсь.

Смотрю на себя. Никаких форм, никаких линий — только силуэт, растворённый в ткани. Взгляд прячется за тоном платья, теряется в однообразии. Но на лице — неуловимая улыбка.

Я уже побеждаю кого-то. В первую очередь — свою неприязнь к правилам, с которыми живу.

Маленькая победа, которую никто не заметит. Но я знаю. Я чувствую её внутри.

Выхожу из дома. Папа уже стоит у входной двери, поправляет воротник рубашки. Мы проходим до калитки вместе — так происходит каждое утро. Он целует меня на прощание и желает хорошего дня.

— Увидимся вечером, дочка.

Я киваю и выхожу за калитку.

Отец не знает, что, когда я смотрю в его глаза, внутри меня загорается тревога. За него. За нас. И недосказанность, которая растёт между нами с каждым днём, как трещина в стекле. Тонкая, но неумолимая. Также он не знает, что мои школьные дни — то ещё времяпрепровождение.

Школа встречает меня взглядами. Они наполнены недоумением. Иногда — надменностью. Иногда — жалостью, которая хуже любой насмешки.

Школа — место, где кишат те, кто не придерживается веры. Кто не просто не разделяет наши убеждения, а высмеивает их. Каждый раз, проходя по коридору, я чувствую эти взгляды на спине — они царапают кожу, оставляя невидимые ссадины.

Высмеивание. Непонимание. Это часть моей жизни.

Моё поколение считает, что Бога не существует. Что вера — лишь каприз, лёгкое безумие, пережиток прошлого. Но я знаю: внутри каждого, кто не верит, таится страх перед тем же Богом, которого они так ярко отвергают. Они просто боятся признаться себе в этом.

Я не люблю делить людей на плохих и хороших. Я сама по себе. И мне всё равно, что обо мне думают. Но ясно одно: Арин Келли — та ещё чудачка для многих.

Я приняла это и живу с этим, как с частью своей судьбы.

Школа — это место, где ты узнаёшь, что мир не прощает отличий. Что быть не таким, как все, — значит быть мишенью. Но я научилась не вздрагивать, когда в меня целятся.

Я выдыхаю и ускоряюсь, чтобы не опоздать к началу урока.

Как только переступаю порог школы, сразу иду в уборную.

Кабинка — моё временное убежище. Там я снимаю платье. Второй слой кожи, который прирастает ко мне каждое утро. И переодеваюсь. Чёрная водолазка облегает фигуру — мягкая, тёплая, моя. Юбка сидит по фигуре, не стесняя движений. Я смотрю на себя в зеркало и вижу другую Арин. Не дочь священника. Не органистку. Не ту, что в сером платье.

Просто Арин.

Мне становится легче. Я могу снова дышать по-настоящему.

Пока я стою у раковины, рассматривая своё отражение в мутноватом зеркале школьной уборной, в дверях появляются две одноклассницы.

Они смеются неестественно громко. Пока не замечают меня. Их смех обрывается. Они застывают в дверях, и я вижу, как их лица меняются — сначала удивление, потом растерянность, потом привычная маска превосходства.

Одна из них фыркает. Неприкрытая ирония кривит её губы. Вторая резко дёргает её за руку, предупреждая о чём-то.

Я наблюдаю за их реакцией с холодным спокойствием. Встречаюсь с ними взглядом в зеркале. И подмигиваю. Желаю удачи в их глупых повадках.

Они переглядываются. В их взглядах — замешательство. Не знают, как реагировать на того, кто не боится, не отводит глаза, не краснеет, не прячется.

В такие моменты я чувствую их глупость и несуразность. Но особого гнева не испытываю. Это просто их способ показать своё превосходство — единственный, который они знают. Жалкий, но понятный.

Я выхожу из уборной и иду в класс.

Шаги отдаются эхом в длинном, залитом светом коридоре. По пути мимо меня проходят другие школьники. Кто-то смотрит осуждающе. Кто-то — с грустью в глазах. Кто-то просто отводит взгляд. Их реакции — только их забота. Я усвоила это давно.

Люди всегда будут смотреть. Осуждать. Шептаться. Но их слова — только ветер. Он дует и стихает. А я остаюсь.

Звенит звонок.

Резкий, пронзительный звук разрезает воздух, заставляя класс замереть на секунду, а затем снова ожить.

Учитель заходит — мистер Бреннан, в очках с толстыми линзами и с вечно растрёпанными волосами. Он поправляет журнал, кашляет в кулак.

— Ребята, у вас новый одноклассник. Он пропустил целый год по семейным обстоятельствам и теперь навёрстывает упущенное.

В классе замирает тишина. Я поднимаю глаза и вижу того, кто стоит в начале класса с бесстрастным выражением лица.

Чёрная футболка. Широкие плечи. Серые глаза. Те самые, что смотрели на меня с вызовом у реки.

Женская часть класса громко вздыхает. Кто-то шепчет: «Ого, новенький», кто-то: «Да это же этот уголовник». Внимание всех сосредотачивается на фигуре в дверях.

Но его взгляд останавливается на мне.

Смотрит прямо. И его брови опускаются, чуть хмурясь. Я читаю в этом взгляде то же узнавание, которое парализовало меня секунду назад.

Из всех классов он должен был появиться именно здесь. Шон Маккарти.

— Шон, садись за свободное место. — Добавляет учитель, поправляя очки.

Эти слова эхом отдаются в моём мозгу. Разносятся по всем закоулкам сознания.

Маккарти немедленно проходит к свободной парте рядом со мной. Его шаги уверенные. Я чувствую, как вибрирует пол под его кроссовками. Он движется так, словно занимает пространство по праву — не агрессивно, но неоспоримо.

Он останавливается рядом с партой. Тень накрывает мою тетрадь, и свет меркнет на секунду.

Я поднимаю голову.

Шон не смотрит на меня. Он тоже не знает, как расшифровать эту встречу.

Он садится. Парта скрипит под его весом. Я чувствую его присутствие боковым зрением.

Класс гудит. Кто-то оборачивается. Девчонки переглядываются. Я слышу шёпот: «Это же тот самый Маккарти?», «Сын алкаша?», «Он отсидел?».

Шон не реагирует. Он просто смотрит перед собой, и его лицо не выражает ничего.

Судьба любит иронию. Она сталкивает тебя с человеком у реки, чтобы наутро посадить его за соседнюю парту. И ты сидишь и думаешь: это случайность? Или кто-то там, наверху, решил пошутить?

В течение следующего урока я наблюдаю за Маккарти — из необъяснимого мне любопытства.

Сама не знаю, зачем. Но глаза то и дело соскальзывают в его сторону. Изредка поглядываю — мельком, украдкой, между строчками в тетради.

На следующем уроке физики Шон сидит и смотрит в окно.

Перед ним — чистая тетрадь. Открытая. Белая страница.

Учительница вызывает его к доске дважды.

— Маккарти.

Тишина.

— Маккарти.

Он не реагирует. Не оборачивается. Сидит с отсутствующим выражением.

Класс хихикает. Сначала тихо, потом громче.

— Да он вообще буквы забыл, пока сидел. — Кто-то бросает с первых парт.

— В камерах мозги отшибает. — Кто-то добавляет — громче.

Шон не оборачивается. Он просто смотрит, как за окном качается ветка старого клёна.

Учительница подходит к его парте. Я слышу цоканье её каблучков — каждый шаг как удар метронома, отмеряющий чьё-то терпение. Она берёт пустую тетрадь. Листает — страница за страницей.

Смотрит на Шона поверх очков. Взгляд — усталый, привыкший к разочарованиям.

— Маккарти, ты вообще собираешься учиться? Последний год как-никак.

— Задумался. — Он отвечает, не поворачивая головы. Без оправданий. Просто констатация.

Класс взрывается.

— Ты ещё и думать умеешь? — доносится очередная тупость с задней парты. Смех — громче, наглее. Кто-то хлопает по столу, кто-то оборачивается к соседу, чтобы повторить шутку.

Мои кулаки сжимаются сами.

Учитель вздыхает. Кладёт тетрадь Шона обратно на парту. Возвращается за свой стол.

— Завтра с утра хочу видеть твой идеальный конспект на моём столе. — Ставит точку.

Шон не отвечает. Просто кивает. Один раз. Коротко.

Я смотрю на него — и вижу то, чего не видят другие.

Он правда был не здесь. Он выпал из реальности — так, как выпадают люди, когда внутри них слишком много проблем, чтобы помещаться в теле.

Звенит звонок.

Класс освобождают буквально за минуту — парты гремят, сумки летят на плечи, голоса заполняют коридор. Все торопятся на выход.

Перед тем как выйти следом за другими, я подхожу к Шону.

Он не торопится. Собирает рюкзак медленно, каждое движение — усилие. Рука тянется к молнии, замирает, потом тянется снова.

— Держи. — Я кладу перед ним свою тетрадь. — Я всё записала. Перепиши. Так будет быстрее.

Шон смотрит на тетрадь. Потом — на меня.

Усмехается. Не колко, не зло. Устало — как человек, который забыл, что кто-то может дать что-то просто так.

— Ты серьёзно? Дочь священника помогает уголовнику?

— Я помогаю однокласснику. — Без колебаний отвечаю я. — Это другое.

Шон берёт тетрадь. Листает. Всматривается в мой почерк — в каждую букву, в каждую линию, в схемы на полях, где я выводила векторные диаграммы.

Поднимает на меня глаза.

В них мелькает что-то — не благодарность. Скорее замешательство.

— Верну завтра, — говорит он коротко.

Встаёт. Закидывает рюкзак на плечо. И выходит — забрав мою тетрадь.

Я остаюсь стоять у пустой парты.

Сердце колотится где-то в горле. Часто. Гулко. Я сама не знаю, зачем это сделала.

Это не жалость.

Это — помощь человеку, в которого не верят. Человеку, которого судят по его прошлому. По ошибкам, которые он уже оплатил.

Я не жалею его. Я отказываюсь судить его по чужому сценарию.

В классе пусто. Пахнет мелом и деревом. За окном — тот же клён качает ветками.

Я беру свою сумку и выхожу.

Сердце всё ещё стучит где-то в горле. Но я не знаю — это от того, что я сделала. Или от того, что он всё-таки взял мою тетрадь.

Отец отправляет меня в магазин под вечер, когда небо уже начинает густеть синевой, а фонари ещё не зажглись.

— Арин, хлеба нет. И масла. Бегом, пока не стемнело окончательно.

Я беру пакет и выхожу. Воздух на улице уже пропитан сумеречной сыростью.

Магазин — обычный ритуал. Холод витрины, ворчание кассы.

Возвращаюсь переулком — узким, между глухими стенами гаражей и старых сараев, чтобы сократить путь.

Здесь тихо. Только мои шаги отдаются эхом, отскакивая от кирпича и возвращаясь мне в затылок, да где-то вдалеке — лай собаки, равнодушный, привычный.

Я почти дохожу до конца переулка, когда слышу удар.

Таким звуком кости встречаются с тем, что твёрже них. Следом — почти рычание. Низкое, горловое, полное боли, которое не может выйти иначе и потому выходит вот так, кулаками.

Резко оборачиваюсь.

В полумраке переулка, у железобетонного столба — он.

Шон стоит боком ко мне, тяжело дышит, и я вижу, как его правая рука — уже разбитая, в крови — сжимается в кулак снова. Костяшки содраны до мяса, тёмные пятна на сером бетоне. Он не замечает меня. Он вообще никого не замечает — он там, внутри себя, в той точке, где заканчивается терпение и начинается зона глухой беспомощной ярости.

И он ударяет снова.

Кулак встречается со столбом — я слышу хруст, влажный, неправильный, и внутри меня всё переворачивается. Желчь остро подкатывает к языку. Мой пульс уходит в виски и стучит там, ровно за глазами, ровно в том месте, где у него селится ярость.

— Маккарти! — срывается с губ. Я хватаюсь за крестик на груди, сжимаю его в кулаке, как талисман, и пакет выпадает из рук. Хлеб, масло. Глухой звук об асфальт.

Теперь оборачивается он.

На долю секунды я застаю его лицо — злое, уставшее.

Шон узнаёт меня. И надевает свою привычную маску — я вижу, как она ложится, движение челюсти, сброс лица, вторая кожа, сросшаяся до неузнаваемости. Я вижу, как он ждёт, — развернись, убегу, испугаюсь.

Но я делаю шаг к нему. Второй. Третий.

Подхожу — и останавливаюсь в полуметре. Расстояние между нами тает, воздух густеет с каждым моим шагом. Я ступаю в его личное пространство через невидимую границу, на которую никто не давал мне права.

Не касаюсь. Не вторгаюсь.

Только опускаю взгляд на его руку. Кровь стекает по пальцам, собирается на тыльной стороне ладони, капает на землю.

— Себя надо беречь, — говорю тихо.

Он не отвечает. Смотрит — изучающе. Я — загадка, которую он не может разгадать. Между нами полметра. Слишком мало для чужих. Слишком много, чтобы стало просто.

— Бывают периоды в жизни, когда хочется послать всё к чёрту, — продолжаю я. — Но это всё временно.

Тишина. Три удара сердца. Четыре. Я слышу их — не его, не свои, а какие-то общие, на двоих, на этой узкой полосе асфальта.

— К чёрту? — Он переспрашивает. Голос хриплый, с той горькой усмешкой, которая растягивает слова. — Странно слышать от тебя подобное.

Я осекаюсь.

«К чёрту». Фраза, которую отец одёргивает каждый раз, когда я позволяю её себе вслух.

А здесь — Шон просто смотрит на меня. Не поправляет. Не читает нотацию. Даёт слову прозвучать до конца.

Внутри — короткий разряд, что-то щёлкает и встает на место. Будто я впервые произнесла это слово и услышала, что оно не отравит меня, если не убегать от него.

— Иногда жизнь в принципе выглядит как выживание, — говорит он.

Я смотрю на него. На разбитую руку, на кровь, засыхающую на костяшках — она уже темнеет, густеет на глазах, превращается в коросту, в память. На глаза, в которых больше нет злости — только усталость. Та усталость, после которой тело молчит, а душа продолжает кричать.

— Так измени это.

Я сама не знаю, откуда во мне эти слова — они просто есть, готовые, отточенные. Ждали своей очереди в том месте, где я храню всё, что не смела сказать вслух ни отцу, ни крестнику, ни себе.

Разворачиваюсь. На ходу поднимаю пакет — хлеб, масло, всё целое. Отряхиваю от пыли. Оборачиваюсь.

— До завтра, Шон. Доброй ночи.

И ухожу.

Я не оборачиваюсь. Но я знаю: он смотрит мне в спину. Чувствую это кожей, затылком, тем местом между лопаток, которое холодеет под чужим взглядом. Он оставляет там отпечаток, не касаясь.

Иду домой. Переулок позади. Фонари зажигаются — жёлтые круги света на асфальте, круги, в которых воздух кажется теплее и безопаснее. Я шагаю в первый круг и чувствую, как холод отпускает затылок.

И я понимаю: я не ошиблась.

В его глазах есть настоящее. Но это прячется за образом, который сформировался не от лучшей жизни.

Прихожу домой. На кухне тихо. Отец уже в своей комнате. Я ставлю пакет на стол. Наливаю воды, пью — и чувствую, как волнение постепенно отпускает.

Иду к себе. Ложусь в кровать. Выключаю свет.

Перед глазами всё ещё его взгляд. Не злой. Не тяжёлый. Просто — другой. Тот самый, которым он смотрел на меня в переулке, когда я не убежала. Тот, что остался у меня между лопаток.

Закрываю глаза.

Проваливаюсь в сон — вместе с этим взглядом.

Засыпаю.

И впервые за долгое время — забываю помолиться.

На следующее утро Шон заходит в класс.

Я вижу его в ту же секунду, как он переступает порог — хотя не смотрю на дверь. Я вообще смотрю в парту, в тетрадь, в белый лист, на котором ещё ничего не написано. Но краем глаза, периферией, тем шестым чувством, которое обостряется, когда человек занял место в твоих мыслях без спроса, — я знаю, что он вошёл.

Маккарти идёт целенаправленно ко мне.

Не оглядываясь по сторонам. Не задерживаясь взглядом на пустующих партах. Идёт — и не отводит от меня взгляда.

Он подходит. Останавливается у моей парты.

— Привет. — Он бросает рюкзак на пол рядом и кладёт передо мной мою тетрадь. — Спасибо за конспект.

— Привет. Пожалуйста.

Звенит звонок.

— Не против, если будем за одной партой?

Он спрашивает, и я слышу в этом вопросе не уверенность, а проверку. Он ждёт отказа.

— Садись, если хочешь.

Шон опускается на стул рядом.

Воздух между нами меняется. Уплотняется.

Учитель уже проходит в класс и принимается выводить на доске тему урока — белые линии складываются в слова, но я не воспринимаю их смысл. Они просто есть. Как фон. Как тиканье часов, на которое перестаёшь обращать внимание.

Мы сидим рядом. И мне дико непривычно. Я всегда одна в стенах школы. Были подружки в младших классах, но они все переметнулись к более выгодным друзьям. Им нужен был лживый авторитет и парни. Зачем им подруга, которая не может даже погулять допоздна?

По габаритам Шон ощутимо больше меня. Рост — под метр восемьдесят, не меньше. Его колени упираются в дно стола, локти выходят за края парты — ему тесно в пространстве, которое для меня всегда было в самый раз.

Я — метр шестьдесят. Между нами — пропасть в двадцать сантиметров и целая вселенная разницы в том, как нас учили жить.

Я открываю тетрадь, беру ручку, начинаю записывать.

И в этот момент он задевает мою руку локтем.

Случайно. Мы оба тянемся к тетради — я левша, он правша. Нам вместе просто не хватает места: локти сталкиваются, мешая друг другу писать.

Короткое, чужое соприкосновение, от которого по коже бегут мурашки.

Шон дёргается первым.

— Извини, — говорит быстро, отдёргивая руку.

— Можем поменяться местами на следующем уроке, — предлагаю я. Стараюсь, чтобы голос звучал нейтрально — хотя внутри от его случайного касания до сих пор вибрирует кожа. — Так будет удобнее.

Шон молча кивает.

И смотрит на меня.

Не в упор, не сверляще — но и не мельком. Взгляд задерживается на мгновение дольше, чем нужно. И в этом взгляде — не пустота, не оценка, не та холодная отстранённость, которой он отгораживается от мира.

В нём — интерес. Не праздное любопытство — желание понять. Что за человек скрывается за этим образом, который вводит в замешательство?

У реки он был далеко не приветливым. Он сбросил мою руку, назвал меня «проповедницей в лесу», можно сказать, послал меня. А сейчас говорит простое «извини». Той, кого никто здесь не принимает всерьёз.

— Я обратил внимание, что ты на всех уроках сидишь одна. — Говорит он, отводя взгляд.

Ровно между делом. Но я чувствую: это не праздный вопрос.

— Ни с кем особо не дружу.

Коротко. Честно.

Шон молчит секунду. Я чувствую, как он обдумывает — прямо сейчас, в этой тишине, между двумя словами учителя у доски. Колебание висит в воздухе, как напряжение перед разрядом.

— Почему?

Я усмехаюсь. Невесело. Вопрос звучит искренне — без насмешки, без подвоха. И это подкупает.

— Потому что таких, как я, не слишком любят.

Шон смотрит на меня.

В его глазах мелькает что-то. Узнавание? Понимание? Та искра, которая вспыхивает, когда один человек видит в другом отражение себя.

Он смотрит на доску.

— Очевидно, как и меня.

Эти слова он произносит тихо. В первую очередь — себе. Проверяет эту мысль на языке, примеряет её, как факт, который он только что признал вслух.

— Как твоя рука? — интересуюсь я.

— Заживёт. — Его тон резкий, но сказанное несёт глубокий смысл.

В этом коротком обмене мы находим то, что нас объединяет. Что-то неуловимое, но осязаемое. Между нами протянулась тонкая нить, соединяющая две одинокие точки на карте этого враждебного мира.

Иногда самые прочные связи рождаются не из сходства, а из одиночества. Из осознания, что в этой комнате, полной людей, вы — единственные, кто говорит на одном языке. Языке тех, кого не приняли.

Больше мы не разговариваем.

Единственный диалог с Шоном — это то, что он молча пропускал меня вперёд, когда мы сменяли кабинеты. Короткий кивок. Лёгкое движение плечом, чтобы освободить проход.

На переменах он уходил куда-то, растворялся в коридорах. Я не знала, где он проводит время.

Не то чтобы меня это волновало. Совсем.

После уроков я собираю учебники из школьного шкафчика. Металлическая дверца открывается с привычным лязгом, и я перебираю книги, складывая их в рюкзак. Коридор пустой — все разошлись. Я задержалась в библиотеке, копалась в справочниках, и теперь ухожу, видимо, последняя.

Я уже почти собрала всё, как вдруг слышу незнакомый голос:

— Эй, крошка.

Рука застывает над учебником. Я одна в коридоре, но до последнего не верю, что обращаются ко мне. Но затем чья-то рука мягко касается моего плеча.

Я вздрагиваю. Оборачиваюсь.

Передо мной стоит светловолосый парень. Выше меня на голову. Острые черты лица, глаза светлые, почти прозрачные. Он улыбается, но улыбка не доходит до глаз.

— Меня зовут Арин, а не крошка, — говорю я.

На подсознательном уровне во мне уже включается сигнал тревоги. Он подошёл не просто поздороваться.

— А меня — Гарри Малек.

— Не видела тебя раньше.

— Я сегодня первый день здесь. Отца перевели в ваше захолустье наводить порядок. — Гарри усмехается. — Вот мы всей семьёй и перевелись. А я тебя видел вчера. Мне понравилась твоя игра на органе.

Я чуть приподнимаю брови. Этого я не ожидала.

— Ты посещаешь церковь? — переспрашиваю, стараясь скрыть удивление.

— Не то, чтобы по своему желанию. Мать заставляет.

Малек пожимает плечами. Но взгляд не отывается от моего лица. Он смотрит на меня — сканирует, считывает информацию, которую я не давала.

— Но знаешь, у нас с тобой много общего. — Продолжает он.

— Например?

— Ты тоже ведёшь двойную жизнь. — Улыбка становится шире. Но глаза остаются холодными, как лезвие. — На службе — ангел, а в школе — дьяволица в короткой юбочке.

Он тянет руку ко мне. Целится в открытую часть ноги — ту, что не прикрыта тканью.

Я делаю резкий шаг назад. Спина упирается в холодный металл шкафчиков — лязг отдаётся в позвоночнике.

Но его это не останавливает. Гарри приближается вплотную. Так близко, что я чувствую его парфюм — сладковатый, навязчивый. Его глаза сверкают странной искрой. Не той, что бывает от интереса или симпатии. Другой. Тёмной.

— Думаю, мы подружмся. — Он наклоняет голову, разглядывая меня, как экспонат в витрине. — Ты очень круто играла на органе. — Голос звучит с наигранной похвалой.

— Тебе стоит начать уважать личные границы других. — Говорю ровно, но внутри тревога нарастает. Я привыкла к тому, что меня игнорируют. Но такое внимание — впервые.

Малек наклоняется чуть ближе. Лицо в нескольких сантиметрах от моего. Я вижу каждую деталь: светлые ресницы, тонкие губы.

— У меня плохо с силой воли, крошка. — Голос понижается до шёпота. — Я так и думал, что под тем мешком, который был на тебе вчера, скрывается отличная фигурка. Сходим на свидание?

Я смотрю на него в упор. Внутри закипает холодная ярость. Тревога сменяется злостью — такой острой, что я чувствую её вкус на языке.

Он неожиданно кладёт руку мне на грудь. И сжимает до боли — так резко, что я вскрикиваю. Хватаюсь за его запястье, пытаюсь оттолкнуть, но пальцы скользят по коже, не находя опоры. Он не отпускает. Хватка железная. Каждый миллиметр моего тела кричит от унижения.

— Хочу, чтобы ты так же кричала подо мной, — шепчет он, дыхание касается моего уха, обжигает кожу.

— Иди к дьяволу! — шиплю я, вжимаясь спиной в холодную дверцу шкафчика.

Металл впивается в лопатки холодом, но я почти не чувствую. Только эту руку на своей груди. Только его дыхание.

— Сквернословить. — Малек ухмыляется снова. — Это даже больше заводит. Я укушу твой язычок, когда ты будешь мне исповедоваться.

Я закрываю глаза. Сжимаю их так крепко, что вспыхивают искры. И в следующую секунду я со всей силы его отталкиваю. Он отлетает от меня. Падает на пол с глухим стуком.

Открываю глаза в ошеломлении. Смотрю на свои руки — они дрожат, пальцы сжаты в кулаки.

Не верю, что это сделала я. Откуда столько сил?

Но ответ появляется передо мной в виде широкой спины, закрывающей меня от Гарри.

Чёрная футболка. Знакомые очертания плеч. Татуировка на руках.

Шон.

Он стоит между мной и Гарри, и его поза не оставляет сомнений: этот рубеж он не даст пересечь.

— Руки убрал. — Говорит Маккарти спокойно. Даже слишком спокойно. Но в нём — твёрдость, от которой воздух в коридоре становится плотнее. Он не смотрит на меня. Он не отводит взгляда от Гарри, который поднимается с пола, отряхивая одежду.

— А ты кто такой? Чтобы лезть в мои дела?! — Гарри срывается с места и встаёт в упор к Шону, пытаясь взять высотой.

Но Шон не сдвигается. Ни на сантиметр.

Я стою за ним, как за каменной стеной. Полная удивления и благодарности. Сердце колотится где-то в горле, но страх отступает — уступая место чему-то другому. Надёжному.

— Так давай познакомимся. — Тон Шона вдруг становится грубым. Жёстким. Низким. — Тебе будет полезно.

Маккарти делает шаг вперёд. Сокращает расстояние между собой и Малек.

И я понимаю: Шон Маккарти не просто за меня заступился. Он готов за меня драться, если понадобится.

Глава 4

Шон Маккарти

Судьба не спрашивает, готов ли ты к встрече. Она просто приводит самого нужного человека в самый неожиданный день.

— Ты знаешь, кто мой отец?! — рявкает Гарри.

Он смотрит на меня, и в его глазах вспыхивает холодный блеск. Власть. Та власть, которую даёт имя. Та власть, к которой он привык.

Малек закатывает рукава рубашки, обнажая бледные предплечья. На его лице расплзается злорадная улыбка.

Арин позади меня не двигается.

— Мне плевать, кто твой отец, — отчеканиваю я.

Нервы звенят на пределе. Как натянутые струны, готовые лопнуть в любую секунду. Я чувствую этот звон в кончиках пальцев, в висках, в груди.

Гарри смотрит на меня, не моргая. В его взгляде всё тот же опасный огонь. Он медленно наклоняет голову. Кидает короткий взгляд за мою спину — туда, где стоит Келли.

— Крошка, — скалится он. — Я собираюсь бороться за твой язычок. Но тебе явно придётся отработать вдвойне.

Что-то внутри взрывается.

Я не думаю. Я просто бросаюсь вперёд.

Хватаю его за кофту на груди — ткань сжимается в пальцах до хруста. Резко дёргаю на себя. Секунда — и я впечатываю Гарри спиной в шкафчики напротив.

Удар. Металл звенит, отдаваясь эхом по пустому коридору.

Дыхание парня сбивается. Я вижу, как воздух вылетает из его лёгких одним толчком.

Он тут же цепляется пальцами за мою руку — сильно, до белых суставов. Но я не отпускаю.

— Отпусти меня быстро! — цедит он.

Зрачки расширены. Он не ожидал такого поворота. Его уверенность дала трещину — я вижу это в том, как дрогнул его голос, как он дёрнулся, пытаясь освободиться.

Гарри из тех, кто привык, что все сдаются. Стоит лишь назвать имя отца или включить обаяние.

Но я — не все.

Внутри меня всё ещё кипит. Кровь стучит в висках тяжёлым, ритмичным молотом. Я хочу размазать его прямо здесь и сейчас. Показать границы, которые он не способен понять через слова. С такими, как он, говорят только кулаками.

Так же, как с теми, кто был со мной в камере.

Я замираю на секунду. Внутри мелькает тень. Воспоминание, которое я прячу глубоко, за семью замками, в самом тёмном углу сознания.

Четыре стены. Серый свет. И те, кто смотрел на меня так же, как сейчас смотрит Гарри.

Я отгоняю тень. Сжимаю ткань его кофты крепче.

Не прошло и недели. А я уже на грани вляпаться по уши. Я должен взять себя в руки.

Два дня назад.

Я сижу на стуле перед столом директора.

— А ты изменился, Шон.

Сквозь каждое слово мисс Харрис сочится та самая мудрость, которая бывает у людей, видевших твои ошибки и не отвернувшихся. Она знает меня с первого класса. Она знает всё. И может предположить, что будет дальше.

— По крайней мере внешне. — Она чуть наклоняет голову. — Но мне интересно, каким ты стал внутри. В поведении. В поступках. Сможешь ли ты...

Я подаюсь вперёд, облакачиваюсь локтями на стол. Старательно держу лицо, хотя внутри всё сжимается в тугую пружину, готовую выстрелить в любую секунду.

— Мне нужно закончить школу и двигаться дальше, мисс Харрис. — Отвечаю уверенно. Сжимаю челюсть до скрежета, чтобы не добавить лишнего. Не сорваться. Не разрушить всё одним неосторожным словом.

Она наклоняет голову к плечу и улыбается. В её взгляде мерцает что-то тёплое. Она всё ещё видит во мне обычного школьника. Того, кем я себя больше не считаю. Но кем когда-то был.

— Шон. Я дам тебе шанс. — Её тон наполнен заботой, почти болезненной. Она верит мне. И это страшнее любых угроз. — Я хорошо к тебе отношусь, ты знаешь. Но... если произойдёт что-то из ряда вон выходящее, я не смогу защитить тебя перед теми, кто стоит выше. В нашей школе серьёзно относятся к прошлому учеников. К тому, кем они были вчера. И кем могут стать завтра.

Я слушаю. Каждое слово отдаётся где-то глубоко в груди — пульсирует в такт сердцебиению. Внутри загорается тонкая искра, которую я не имею права погасить. Ни при каких обстоятельствах. Ещё один год в Ратморе — и я уеду. Навсегда. Туда, где никто не знает моего имени. Где прошлое не тянется за мной, как цепь на щиколотке.

Мисс Харрис мягко ставит печать на документе. Штамп ложится ровно, с сухим стуком. Она протягивает бумагу, и наши взгляды встречаются.

— Удачи, Шон. Я доверяю тебе.

Пауза. В её глазах — тихий вызов.

— Покажи всем, кто ты на самом деле.

В этих словах — всё. И то, что согревает. И то, что давит. И вера, которой я, кажется, не заслуживаю, но которую отчаянно хочу оправдать. Впервые за долгое время во мне загорается что-то, похожее на желание доказать. Не всем. Не миру. Себе.

Я беру бумагу, сгибаю её пополам и прячу во внутренний карман рюкзака. Последний шанс пульсирует внутри меня, как второе сердце, напоминая: «Всё можно изменить. Если не сделать ту же ошибку снова».

Я резко отпускаю прикурка. Пальцы разжимаются сами — хотя каждая клетка требует сжать их снова. Ярость спадает так же внезапно, как накрыла, оставляя мутный осадок и горькое послевкусие. Во рту — металл. Будто язык прикусил, но крови нет.

— Ещё раз тронешь Арин против ее воли, — говорю тихо. Спокойно. Так, чтобы слышно было только ему. — И я покажу тебе, что такое отсутствие папочкиной помощи.

Гарри трёт плечо, морщится. Но через секунду на лице — опять эта дурацкая ухмылка. Он поправляет воротник и смотрит на меня, как в случае, если бы я сказал что-то смешное.

— Ты правда думаешь, что меня можно напугать?

— Научись слышать и слушать. Мой тебе совет. — Я чуть хмурюсь.

Если он скажет ещё хоть слово — меня придётся оттаскивать от него силой. Я знаю это так же отчётливо, как чувствую, как бешено колотится сердце.

С усилием делаю два шага назад. Выхожу из зоны. Разжимаю кулаки. Дышу.

Возвращаюсь к Арин.

Она стоит как вкопанная. Даже не моргает. Белая — до прозрачности, будто вся кровь ушла из лица и собралась где-то в пятках.

Её учебники валяются на полу. Я наклоняюсь и собираю их. Складываю в сумку. Закрываю шкафчик — металлическая дверца захлопывается с глухим стуком. Ставит точку в том, что здесь происходит.

Не глядя, беру её за руку и тяну к выходу. Арин сжимает мою ладонь в ответ.

Едва успевает перебирать ногами, но не сопротивляется. Её шаги — drobный стук за моей спиной, как секундная стрелка, которая ведёт счёт, и моя злость спадает.

Мы вылетаем на улицу. Холодный воздух бьёт в лицо — обжигает лёгкие, выдувает из головы остатки тумана. И только сейчас я замечаю: Арин держится за меня второй рукой. Вцепляется в предплечье так сильно, что пальцы белеют на костяшках.

— Шон! Подожди! — выдыхает с надрывом. — Я больше не могу! Стой! Да стой же ты! — Последние слова срываются на крик.

Я резко останавливаюсь, разворачиваясь к ней. Отпускаю её руку.

Арин наклоняется, упираясь ладонями в колени, и делает глубокий вдох. Пытается отдышаться. Я слышу, как дрожит её дыхание — неровное, рваное. Словно она не воздух глотает, а осколки.

— Спасибо, что помог, — шепчет она, не поднимая головы. Волосы падают на лицо. — Честно говоря, первый раз в такой ситуации... — Пауза. И вдруг в её голосе проскальзывает что-то новое. Нервная, сбивчивая усмешка. — Но было весело.

Я узнаю этот приём. Она оборачивает одно в другое, прячет испуг за кривой улыбкой. Я сам так делал сотни раз.

— Весело?! — Я срываюсь. — Он тебя чуть не...

— Спасибо, Шон. — Она перебивает. Не даёт закончить. Не даёт озвучить то, что не хочет слышать вслух.

Арин поднимает голову. И я встречаю её глаза.

Светло-серые. Туманные, как предрассветная дымка над полем. В них — что-то большее, чем просто благодарность. Что-то, от чего внутри становится тихо. Шум в голове на мгновение затихает.

— Пожалуйста, — отвечаю спокойно. И вся злость на Гарри уходит куда-то на второй план.

— Не могу понять, — усмехается Арин, и в голосе скользит лёгкая, почти дразнящая нотка. Она склоняет голову набок, разглядывая меня. — Ты ворчун, как у реки? Вспыльчивый, как вчера со столбом? Агрессор, как с Гарри? Или герой, как сейчас?

Я молча кидаю ей её сумку. Она ловит на лету — даже не моргнув.

— Всё сразу, — отвечаю, возвращая на лицо ту самую маску. За которой удобно прятаться. — Идём. Я отвезу тебя домой.

— Отвезёшь? — Арин замирает. Глаза округляются ещё больше — в них мелькает удивление, почти шок.

Будто я предложил ей полететь на Луну, а не просто подбросить до дома.

— Ну да. Не идти же мне пешком за тобой, чтобы потом возвращаться за машиной.

Она чуть хмурится, прокручивая мои слова в голове. Я вижу, как она взвешивает, анализирует, ищет подвох. Привыкла, что всё имеет цену.

— Меня не обязательно провожать, — наконец говорит осторожно.

— После того, что было в коридоре, думаю, будет мудро, если я тебя провожу.

Арин громко выдыхает — с поражением — и резко разворачивается обратно к дверям школы.

Я делаю несколько быстрых шагов вперёд, обгоняю её и встаю прямо на пути.

Между нами не больше шага.

— Без вариантов, Келли, — говорю я, не отводя взгляда. — Ты собралась вернуться туда, где Малек всё ещё бродит?

Арин смотрит на меня с лёгкой улыбкой, в которой сквозит тень растерянности. Она переступает с ноги на ногу — примеряется к моим словам, взвешивает их на ладони.

— Ну, мне ведь нужно где-то переодеться. В таком виде у меня дома появляться — плохая идея. Мой отец очень... как бы это сказать. — Она заправляет прядь волос за ухо. — Придирчивый к моим образам.

Внутри закипает глухое раздражение. Она готова вернуться туда, где этот ублюдок может всё ещё ходить по коридорам, — только чтобы переодеться? У неё вообще есть инстинкт самосохранения?

— Значит, придётся идти с тобой, — говорю решительно. Так, чтобы не оставить места для споров.

— Маккарти. Я переоденусь так быстро, что ты не успеешь и глазом моргнуть. — Она подмигивает с озорством.

Лёгкое, почти детское, и оно выбивает меня из колеи.

И, как я и предполагал, она уверенно шагает обратно.

Я плетусь следом, чуть позади. Смотрю на её спину, на то, как она несёт себя — гордо. Всё, что произошло пять минут назад, просто недоразумение.

На входе мы сталкиваемся с Гарри. Он стоит, прислонившись плечом к дверному косяку, ждал именно этого момента. Расслабленный. Наглый. Собственнический. Ухмыляется своей борзой улыбкой — от которой у меня пальцы сами сжимаются в кулаки.

— Мы с тобой ещё не закончили, крошка Арин, — бросает он, проходя мимо неё вплотную, задевая плечом.

И на прощание кидает мне взгляд. Полный обещаний.

Я готов врезать ему. Прямо здесь. Не думая о последствиях. Но я громко выдыхаю. Стискиваю зубы до скрежета. И иду за Арин в сторону уборной.

Прислоняюсь спиной к стене. Скрещиваю руки на груди. Жду. Плитка ледяная — пробивает холодом через ткань рубашки. Но это помогает. Не думать о том, что я хочу сделать с этим ублюдком.

Как можно вообще вести себя так с девушкой и считать это нормальным? Я не ангел, но никогда бы не позволил себе подобного.

Тишина коридора давит на уши. Заполняет голову гулом. Я считаю про себя секунды. Только чтобы не думать о том, что могло бы быть, если бы я не вмешался.

Не проходит и минуты — дверь открывается. Арин выходит.

Длинное платье в пол — закрытое, скромное. На лице — смиренная улыбка. Почти святая. Она так легко входит в эту роль, что я на секунду теряюсь.

Но я вижу её глаза. В них — огонь. Внутри неё — буря. Она далеко не та покладистая девочка, которая прощает всем грехи и смиренно выполняет церковный устав. Это маска. И она трещит по швам. Я слышу этот треск.

— Я готова.

— Тогда идём, — отвечаю коротко и делаю шаг вперёд.

Мы выходим на парковку. Я подхожу к своему старому пикапу — ржавчина на колёсных арках, потёртый бампер, тонированные стёкла. Открываю дверь, кидаю рюкзак на пассажирское сиденье.

Повисает пауза.

— Шон. — Арин делает шаг ко мне. — Гарри ушёл. Я всё-таки сама пойду домой.

Я поворачиваюсь и смотрю на неё в упор.

— Гарри — придурок. Может, он поймает тебя за углом.

Арин нервно усмехается. Бросает на меня быстрый взгляд. В улыбке — смесь того, что греет, и того, что царапает. Борьба между «спасибо, что спас» и «я сама справлюсь».

— Почему ты так вдруг за меня печёшься? Помог в моменте, но это не значит...

— Потому что я не уверен, что Гарри так легко от тебя отстанет. — Строго перебиваю её. — Уж точно не сегодня.

Она замолкает. Секунду смотрит куда-то вперёд — сквозь меня, сквозь машину. Я вижу, как она взвешивает, сомневается, борется сама с собой. Это написано на её лице — мелким почерком, который читается только с близкого расстояния.

Потом она коротко кидает:

— Ладно.

Берётся за ручку двери и забирается на пассажирское сиденье. Я захлопываю дверь, обхожу капот, сажусь за руль. Поворачиваю ключ зажигания, и пикап с низким урчанием оживает. Двигатель тарахтит — вибрация передаётся в сиденье, в спину, в кончики пальцев. Мы выезжаем со школьной парковки.

Я молча сворачиваю в сторону её дома. Краем глаза вижу, как она сидит рядом: прямая, напряжённая, смотрит в окно.

— Останови меня у пекарни после второго перекрёстка, — вдруг говорит она, не глядя на меня. Чуть сжимает край платья пальцами.

— Я могу подождать тебя. Если тебе что-то нужно купить.

— Нет. — В её голосе появляется твёрдость. — Мой отец будет в бешенстве, если увидит, что меня подвёз парень.

Я усмехаюсь, не сводя глаз с дороги. Уверен, что дело в том, откуда я вернулся. И сейчас Арин выдумает уместную причину, в которую я заранее знаю, что не поверю.

— Просто... — Она делает паузу. Подбирает слова. Я слышу, как она их перебирает в голове, перекладывает, ищет те, что не обожгут. — Когда твой отец — священник, трудно идти против ограничений. Поэтому у меня могут быть проблемы.

Я сжимаю губы. Внутри оседает что-то тяжёлое. Ещё один слой. Ещё одна деталь в мозаике, которая складывается в портрет Арин Келли. Дочь священника. Конечно. Как я мог не придать этому значения.

Чуть поворачиваю голову — чувствую, как её взгляд скользит по моему лицу. Вопрос повисает в воздухе, но я решаю озвучить то, что крутится в голове.

— В школе тебя не очень любят. У тебя есть друзья вообще?

— Я общаюсь только с волонтером из приюта Дариной. Помогаю там по выходным и иногда в будни.

Пауза. И я чувствую, как её любопытство берёт верх, прежде чем она продолжает.

— Странно, что наши одноклассники узко мыслят. — Она запинаясь. — Обычно такие, как ты: высокие, воспитанные, красивые — пользуются успехом в школе. Девчонки за такими в очередь встают.

Я позволяю себе лёгкую улыбку.

Откидываю голову на подголовник, глядя вперёд на дорогу. Ветровое стекло покрыто мелкой дорожной пылью.

— Такое ощущение, что ты не в курсе, кем я был год назад, — говорю я. — Кражи. Драки. Угоны. Жил одним днём. Не поверю, что ты не знаешь подробности. Весь Ратмор об этом знает.

Арин молчит. Я жду реакции — осуждения, страха, отвращения. Всего того, к чему привык. Но она пропускает мои слова мимо ушей.

— А сейчас? — спрашивает она спокойно. Без осуждения. Без жалости. Просто факт. И моя биография — всего лишь список товаров на кассе, который можно пробить и забыть.

— Сейчас я работаю на стройке. Учусь в школе. Планирую поступать в университет.

— Ясно, — коротко отвечает она.

Я поворачиваю голову и смотрю на неё в упор. Встречаю её взгляд. В нём — ничего из того, что я ожидал. Просто принятие.

— И всё? — вырывается у меня.

Арин чуть склоняет голову. И в её глазах загорается искра — та самая, которую я уже видел. Огонь. Буря.

— Главное — какой ты сейчас.

— А может, я не изменился, — говорю я, позволяя себе чуть заметную ухмылку. Испытующую. Проверяющую её слова.

— Но я ведь этого ещё не знаю, — парирует она. И в её голосе — вызов. Ощутимый. Как касание, от которого по коже бегут мурашки.

Слова повисают между нами, заполняя салон тем, что не нужно произносить вслух, чтобы оно существовало.

К сожалению или к счастью, мы приезжаем. Я паркуюсь около пекарни, как Арин и просила. Двигатель тарахтит на холостых.

— Ещё? — переспрашиваю я, не давая ей так просто уйти.

Арин не отвечает сразу. Вместо этого открывает дверь, выходит. Но не закрывает. Наклоняется, заглядывая в салон — и её волосы скользят по плечу, падая мягкой волной.

— Не забывай, нам за одной партой сидеть. — Теперь усмехается она. — Мне пора. Спасибо, что помог сегодня, Маккарти.

Келли захлопывает дверь и идёт мимо пекарни в сторону своего дома. Уверенная. С той самой искренностью.

Я смотрю ей вслед и не могу вспомнить, когда в последний раз мне было так легко говорить с человеком. Она не играет роль — просто общается. Словно мы знакомы уже сто лет, и я не тот парень, от которого отворачиваются.

За последние пару лет я даже забыл, как это — просто так, по-человечески. Босиком по душам. Без масок. Без защиты. Без вечного ожидания удара в спину.

Я перевожу взгляд на дорогу и выезжаю в сторону дома родителей. За окном проплывают знакомые улицы, покосившийся забор соседей. Всё знакомое до тошноты. До оскотины. До той самой точки, когда хочется закрыть глаза и открыть их уже в другом городе.

Но в голове — только её глаза. Её голос. И то самое «ещё не знаю», которое звучит как обещание.

Я останавливаю машину.

Красный кирпич, тёмная крыша, белые окна. Всё как всегда — до боли знакомое. До той самой точки под рёбрами, где хранятся воспоминания, которые не просили, чтобы их помнили.

Я выхожу из пикапа. Хлопаю дверцей — звук разносится по пустой улице. Прохожу на территорию и замечаю огород. Земля невспаханная — сорняки берут своё, пробиваясь сквозь сухую корку мелкими, цепкими ростками. Раньше отец следил за ним — каждые выходные проводил здесь, с лопатой и тяпкой. Но, видимо, махнул рукой окончательно. А маме здоровье уже не позволяет.

Я поздний ребёнок. Она родила меня в сорок один. Отец младше неё на десять лет. Разница, которая всегда чувствовалась в их отношениях — но никогда не обсуждалась вслух. Я вырос в любви, которая проявлялась в мелочах, а не в словах. В том, как она поправляла мне воротник перед школой. В том, как он молча чинил мой велосипед, не сказав ни слова.

Вхожу в дом. Деревянная дверь поддаётся с привычным скрипом — я знаю этот звук с детства. Тишина встречает меня старой мебелью и ароматом выпечки. Яблочный пирог? Свежий хлеб? Что-то, отчего внутри разливается уют. Тягучий, вязкий, как мёд.

Я сразу направляюсь на кухню. Прохожу по коридору, касаясь пальцами стены — обоим помнят мои детские ладони. Я провожу по ним подушечками, и мне кажется, что я слышу эхо собственных шагов из прошлого. Из того беззаботного прошлого.

Мама стоит у раковины, моет посуду. Шум воды заглушает мои шаги.

Я облакачиваюсь на дверной проём и просто смотрю на неё. Седые волосы собраны в аккуратный пучок. Всё тот же фартук — в мелкий цветок, выцветший после сотен стирок.

Любимый халат с расплывчатым фиолетовым узором. Она стоит в профиль — и в этом домашнем свете кажется маленькой и хрупкой.

Даже за делами я вижу: её глаза полны чем-то тяжёлым. Она всегда умела прятать это за суетой.

— Мам, — тихо зову я.

Она резко оборачивается. Тарелка с грохотом падает в раковину — звонкий, испуганный звук разрезает тишину кухни. Мама хватается за сердце, и на мгновение мне кажется, что я снова тот мальчишка, который врывался в этот дом с разбитыми коленками, не думая о том, как она будет волноваться.

— Шони?

Её глаза наполняются влагой мгновенно — я вижу, как она собирается в них, как дрожит на нижних ресницах, прежде чем сорваться. По щекам катятся крупные капли. Голос срыгается, ломается — будто она не использовала его годами и теперь он пробивается наружу с трудом.

— Сыночек...

Она бросается ко мне, и я обнимаю её крепко. Чувствую, как она дрожит в моих руках. Её плечи ходят ходуном. Плачет — навзрыд, утыкаясь мне в грудь, и я нежно глажу её седые волосы.

Они пахнут домом. Детством. Чем-то давно забытым, от чего сжимается сердце в тугой узел.

— Тише, мам, — шепчу я. — Я здесь. Я вернулся.

Но слова звучат глухо, потому что горло сдавило так, будто я проглотил камень. И я стою в этой кухне, обнимая самую родную женщину, и чувствую, как глаза начинают гореть.

— Я молилась каждый день за тебя, — шепчет она, вытирая слёзы кружевным платком дрожащей рукой. — Слава Богу, что всё закончилось.

— Всё в прошлом, мам. — Я целую её в макушку. — Я очень скучал по твоему чаю из чёрной смородины.

Мама поднимает на меня заплаканные глаза — и в них вспыхивает что-то знакомое. Та самая материнская забота, которая не знает границ. Которая способна накормить даже самую глубокую душевную рану.

— А кушать? Сыночек, кушать надо. Сейчас я быстро накрою на стол.

Она уже суетится, вытирая руки о фартук, и я не могу сдержать улыбку. Мама всегда так — когда внутри штормит, она начинает кормить. Её язык любви — это тарелка супа и горячий чай. Она не умеет говорить о чувствах, но умеет вкладывать душу в каждое блюдо. В каждую щепотку соли. В каждую минуту, проведённую у плиты.

Я сажусь за стол. Как раньше. Как в той жизни, до всего.

Деревянная поверхность отполирована до блеска локтями. Моими. Её. Отца. Я провожу пальцем по краю столешницы — там, где когда-то выцарапал своё имя перочинным ножом. Провожу по нему подушечкой и чувствую, как время сжимается в точку.

Мама порхает по кухне, ставя передо мной одно блюдо за другим. Домашний коддл — густой, наваристый, с картошкой и сосисками. Хлеб из овсянки — она печёт его по рецепту своей матери. Фирменные пирожки — с картошкой и мясом. И чай. Чай из чёрной смородины, который пахнет прошлым, разлитым в воздухе.

Передо мной — целое пиршество. Всё на родном, уютном столе, за которым я вырос. За которым мы праздновали Рождество, встречали мой день рождения.

— Может, ещё чего? — спрашивает она, открывая духовку и заглядывая внутрь. — Яблоки ещё минут десять, точно будут печься.

Я смотрю на неё с теплом. Она не может остановиться. Не может поверить, что я здесь, взаправду, что это не сон, из которого она вот-вот проснётся.

— Мама, ты накрыла целый стол, а я попросил только чай. — Отвечаю ей мягко. — Сядь со мной.

— Конечно, сынок. — Она всплескивает руками, снимая фартук. — Ты же там не ел совсем нормальной еды.

Мама наконец садится напротив. Я вижу, как в морщинках вокруг её глаз прячется счастье. Чистое. Уставшее. Оно помещается в этом кухонном свете, и в том, как её рука тянется через стол, чтобы коснуться моей.

Её пальцы накрывают мою ладонь. Она не говорит ничего. Просто держит.

Я отпиваю чай и закрываю глаза на секунду. Смеюсь, качая головой. Смех выходит нервным, сбивчивым — но я стараюсь, чтобы он звучал легко. Чтобы она поверила.

— Мама, забудь. Я здесь, а всё, что было там, пусть останется там.

Она тихо вздыхает и вытирает слёзы платком, уже влажным насквозь. Тонкая ткань комкается в её пальцах, но она не выпускает её.

— Это, видимо, возраст, — тихо говорит она, стараясь скрыть то, что подступило к горлу. Она отводит взгляд, но я вижу, как дрожит её подбородок. — Ты не представляешь, как я рада, что ты здесь.

— Я тоже очень рад, мама, — отвечаю, чувствуя, как сердце сжимается. От этой простой, искренней радости. От того, что она смотрит на меня, как на подарок, который не надеялась получить.

И вдруг эту иллюзию моего возвращения домой разрывает голос.

Ненавистный мне голос.

— Аманда! Я дома!

Слышен стук упавшего стула в коридоре, шуршание пакета и звон бутылок, катящихся по полу.

— Только я забыл пряную приправу! — доносится уже ближе. Голос немного заплетавшийся, с той знакомой хрипотцой.

Внутри меня всё натягивается. Пальцы сами находят край кружки и сжимаются вокруг.

— Фергус, иди сюда скорее! — кричит в ответ мама, вставая на ноги, и в голосе её дрожит предвкушение.

Она хочет, чтобы он увидел. Чтобы разделил с ней эту радость. Чтобы они вместе — как семья — встретили меня.

Я ставлю кружку на стол громче, чем планирую. Глухой резкий удар о дерево, как пощёчина.

Мама, видя перемену, замирает. Медленно садится обратно на стул. В её глазах — тревога. Она смотрит на меня, потом на дверь. Потом снова на меня.

В этот момент отец входит на кухню.

Он стоит в дверном проёме. Грузный. Небритый. В старой рубашке, которая когда-то была белой — а теперь серая, с жёлтыми пятнами под мышками. Пакет выпадает из его рук и падает на пол снова. Бутылка выкатывается и останавливается у моих ног.

Я смотрю на неё. Дешёвая водка. Неизменная марка.

— Шон... Ты вернулся. — Говорит отец, еле шевеля губами.

Аппетит пропадает мгновенно точно по щелчку выключателя. Я отодвигаю тарелку.

— Да. Я здесь, — отвечаю бесстрастно.

Отец радостно улыбается, разглядывая разбросанные по полу покупки. Он не смотрит на меня. Он смотрит на бутылку у моих ног.

И в этом опущенном взгляде — всё, что я помню. Все вечера, когда он не возвращался. Все его обещания, которые разбивались о дно очередной рюмки.

Я не отодвигаю бутылку ногой. Я просто смотрю на неё и думаю: некоторые вещи не меняются.

Мама переводит взгляд с него на меня. Выбирает. Надеется, что выбирать не придётся.

— Фергус! Ты там всё перебил, наверное, — бросает мама, пытаясь перевести всё в шутку. Её голос звучит неестественно бодро — так бодро, что слышно каждую трещину.

Но я не могу играть в эту игру.

— Лучше бы, чтобы всё разбилось. — Бросаю я.

Злость вспыхивает мгновенно. Несмотря на месяцы, что прошли. Несмотря на то, что я обещал себе быть спокойным. Она поднимается изнутри — горячая, горькая, заполняет горло, сдавливает виски. И я не могу её остановить.

— Ты, смотрю, так и не просыхаешь? — продолжаю я наступать. Голос звучит жёстко. И я вижу, как мама сжимается на своём стуле.

Отец молчит. Не отвечает. Его беспомощные руки висят вдоль тела.

— Работает? Или живёте только на выплаты? — Я смотрю на него. Не отвожу взгляда.

Мама переглядывается с отцом. Коротко. Испуганно.

— Он просто не может найти работу. — Она отвечает за него, почти неслышно.

Эти слова висят между нами троими.

— Значит, он просто ничего не делает. — Фыркаю я, не глядя на отца. Слова сочатся ядом, который копился слишком долго. Разъедал меня изнутри все эти месяцы. И теперь вытекает наружу, отравляя всё вокруг.

— Не разговаривай со мной в таком тоне. — Отец наконец поднимает голову. Его голос спокойный. Но в нём слышится боль. Глубокая. Старая. Как шрам, который никогда не заживёт, потому что его всё время бередают.

— С кем? — Я чувствую, как внутри всё закипает. Жар поднимается от живота к груди, к горлу, к глазам. — Скажи мне, с кем я разговариваю в таком тоне? С родным отцом или с тем, кто сдал меня полиции?

Мама вздрагивает. Я ударил её словами, а не отца. Она прижимает платок к губам — кружево дрожит на её пальцах. Но она не вмешивается. Она никогда не вмешивалась.

— Я хотел уберечь тебя, — тихо говорит отец. И в его глазах мелькает что-то похожее на мольбу.

Я смотрю на него. На его мятый воротник. На руки, которые когда-то поднимали меня в воздух, когда я был маленьким. На глаза — мутные, с красными прожилками.

Уберечь.

Слово застревает у меня в горле. Острое. Колючее. Я пытаюсь проглотить его, но оно не проходит.

— Уберечь? — переспрашиваю я. — Ты называешь это «уберечь»?

Я смотрю на отца. Он смотрит на меня. И между нами — бутылка дешёвого алкоголя.

— Весь этот год я выживал там. Каждый. Гребаный. День. — Напоминаю ему.

Мама вдруг всхлипывает. Я осекаюсь. Не хочу, чтобы она знала все подробности последнего года. Я чувствую, как её сердце бьётся где-то рядом. Тонкое, уставшее.

Я делаю глубокий вдох.

— Ключи от вагончика деда. Где они?

Мама смотрит на меня растерянно, в отличие от отца.

— А как же... — Она запинается. — Ведь твой дом здесь.

— Я не останусь с предателем, мам. — Говорю, не скрывая горечи.

Слова звучат как приговор. Отпечатываются в воздухе, оседают на стенах, на столе, на остывшей еде.

Отец снова опускает голову. Молчит. Он ничего не говорит в свою защиту. Просто стоит — опустив плечи, смотрит в пол. В свете кухонной лампы его тень на стене кажется огромной, но сам он — маленький, никчёмный.

Между нами пропасть, которую не заполнить ничем. Которая пахнет перегаром и горьким разочарованием.

— Ключи. — Я протягиваю руку.

Он медленно достаёт связку из кармана брюк. Пальцы дрожат — мелко, едва заметно. С металлическим звоном отстёгивает нужный ключ и протягивает мне. Его рука замирает на мгновение — он хочет сказать что-то ещё. Но я забираю ключ раньше, чем он успевает открыть рот.

— Спасибо, мам, — наклоняюсь и целую её в лоб. — Я приеду на выходных помочь во дворе.

— Шони... — шепчет она.

— Если захочешь, приходи ко мне... — Я бросаю короткий, тяжёлый взгляд на отца. — Только без него.

Не дожидаясь ответа, я ухожу.

Шаги гулко отдаются в коридоре. Я слышу, как мама рыдает за спиной, но не оборачиваюсь. Если обернусь — сломаюсь.

Сажусь в пикап и завожу двигатель. И больше не задерживаюсь ни на минуту.

В зеркале заднего вида дом уменьшается. Становится всё меньше.

Жизнь раньше была иной. Семейной. Цельной. До того, как я свернул не туда. До того, как всё разбилось вдребезги.

А сейчас я возвращаюсь в этот дом только ради матери. Только ради того, чтобы увидеть её улыбку и убедиться, что с ней всё в порядке.

Я приезжаю к вагончику. Он стоит на краю реки — старый, обветшалый, весь в паутине и грязи. Стёкла мутные, крыша кое-где просела. В темноте он похож на заброшенную игрушку — ту, которую когда-то любил, но забыл на заднем дворе под дождём.

Захожу внутрь. Включаю старую лампу — она мигает, но загорается, отбрасывая тёплый круг на выцветшие обои.

Начинаю уборку. Пришло время привести здесь всё в норму. Беру тряпку, вытираю пыль с полок, с подоконников. Сметаю паутину с углов.

Методично, молча, как делал когда-то дед, когда хотел привести мысли в порядок.

Движения привычные. Почти ритуальные.

Потом падаю на кровать. Пружины жалобно скрипят под весом тела — знакомый звук, от которого внутри что-то отпускает. Я закрываю глаза и проваливаюсь в сон.

В тот самый, который показывает мне год, который я хочу забыть. В те дни, когда мир сузился до бетонных стен и железных решёток. Когда каждый новый рассвет приносил не надежду, а очередную битву за то, чтобы остаться собой. Когда я научился не показывать страх, потому что страх приравнялся к смерти.

Лица. Голоса. Крики.

Отчаянье.

Я снова там. В той клетке, откуда выбрался, но которая навсегда осталась частью меня.

Я открываю глаза и вижу серый потолок камеры. Слышу шаги надзирателя в коридоре. Чувствую, как холодный пол отдаёт в босые ступни, как спёртый воздух оседает в лёгких свинцом.

Но сквозь этот сон я слышу другой звук.

Голос Келли: «Главное — какой ты сейчас».

И я цепляюсь за него. Как за последний лучик света в этой темноте.

Оказывается, можно выйти из тюрьмы, но носить её стены внутри себя. Можно покинуть камеру, но каждый раз, закрывая глаза, возвращаться туда. Пока однажды не появится кто-то,

чей голос пробивается сквозь эти стены. И ты понимаешь: ключ не в замке. Ключ всё это время был в твоём кармане. Ты просто боялся его повернуть.

Глава 5

Шон Маккарти

Ошибка, совершённая ради помощи, — уже не ошибка, а цена, которую ты платишь за чужую улыбку.

Год назад.

Я выхожу из дома. Вечерний воздух бьёт в лицо. Отрезвляет, пробирается под куртку, остужая разгорячённые нервы.

Подношу телефон к уху.

— Теперь можешь говорить.

— Маккарти, у наших есть предложение. Я уверен, тебе понравится. — Раздаётся голос Кола.

Мой знакомый из нелегального мира. Мы пересекались в делах пару раз, но никогда не работали вплотную. Он всегда был на периферии — тот, кто знает, но не участвует. До сегодняшнего вечера.

— Говори, не тяни. — Тороплю его.

— В Ратморе есть мужичок, — продолжает он. — Конченный и буйный алкоголик. У него есть тачка. Битая, перекошенная, но на ходу. Около дома стоит. Его видят в местном баре каждый вечер. Можно проследить за ним и угнать его корыто.

Я сжимаю челюсть. Слышу, как зубы скрипят где-то внутри черепа.

— Мы не договаривались заниматься крупными кражами. И тем более угоном.

— Ты не понимаешь! — Голос становится настойчивее. Я слышу, как Кол нервно дышит. Слова спотыкаются друг о друга. — Это другие деньги. Мы даже не спалимся. Просто пробежмся в дом, заберём ключи и укатим в соседнюю деревню, в гараж с Бобом. Там разберём и продадим на запчасти. Тачку не найдут. И нас тоже. А деньги здесь другие, брат.

Я молчу. Смотрю на тусклый свет в окне родительского дома. Издалека он кажется тёплым, почти уютным. Но я знаю, что внутри — темнота, которую этот свет не может разогнать.

— Мне не нравится идея. Это перебор.

— Твоей семье нужны деньги. Пока твой отец не взялся за голову. Тем более твоей маме нужна операция на ногу, да и...

Он не договаривает. Резко замолкает. Кол знает мои слабые места. Знает, где нажать, чтобы я прогнулся. Знал всегда.

В трубке — тишина. Только его дыхание — неровное, частое, как у зверя, который загнал добычу и ждёт, когда она перестанет дёргаться.

Пальцы сжимают телефон так, что костяшки ломит.

Слова въедаются под кожу. Оседают где-то между рёбер. Пульсируют в такт сердцу.

У меня нет выбора.

Потому что выбор — это роскошь. А у меня — только иллюзия. И то, если повезёт.

Я закрываю глаза и вижу маму — как она морщится от боли, когда думает, что никто не видит. Как прячет хромоту за улыбкой. Как говорит «всё хорошо», когда я спрашиваю, не нужно ли ей к врачу.

Я открываю глаза. Смотрю на звёзды. Они далёкие. Такие же равнодушные, как Ратмор.

— Я согласен. — Отвечаю и глубоко выдыхаю.

— Красава. Я скину тебе время и адрес, как только убедимся, что он будет там. Начнём.

— Понял.

Я нажимаю отбой. Экран гаснет. Смотрю на своё отражение в тёмном стекле и не узнаю себя. Тот ли я человек, которым хочу быть? Или тот, кем меня сделали обстоятельства?

Собираюсь вернуться в дом, оборачиваясь.

Отец стоит в дверном проёме.

Держит дверь открытой и смотрит на меня. В глазах — что-то, чего я не видел давно. Или не хотел видеть. Трезвость? Осознание? Или просто очередная игра света? Но ему явно есть что сказать сейчас.

— Чего тебе? — бросаю я, не скрывая раздражения.

— Ты же понимаешь, если тебя поймают, то посадят?

Я останавливаюсь. Смотрю на него в упор. Он слышал разговор.

— Тебя это стало волновать? Почему-то, когда ты бухаешь на краденые деньги, ты не задумываешься, откуда они.

— Я найду работу, сын. Мне осталось немного, и я... — Он замолкает, не зная, что сказать. Тянет бутылку ко рту и делает глоток.

Горлышко звенит о зубы. Привычный, до тошноты знакомый звук.

Я подрываюсь к нему — быстрее, чем успеваю подумать. Выхватываю бутылку из рук и со всей силы швыряю в сторону. Стекло разбивается с оглушительным звоном. Осколки разлетаются по полу веранды — сверкают в тусклом свете из прихожей, как осколки разбитой надежды на лучшую жизнь.

Тишина.

Только дыхание — моё, частое, тяжёлое. И его — прерывистое, пьяное, жалкое.

Отец смотрит на осколки. Потом на меня. В его глазах — подступившие слёзы. Или мне кажется? Свет лампы играет, дробится в стеклянных крошках на полу, разбегается солнечными зайчиками, которым здесь не место.

Наше молчание прерывает мамин приглушённый вздох откуда-то из глубины дома.

— Тебе останется немного, если ты не оставишь бутылку, — цежу сквозь зубы, глядя отцу в глаза.

— Фергус? Шони? У вас всё в порядке? — встревоженный голос мамы доносится с окна второго этажа.

Я считаю до трёх. Сжимаю и разжимаю кулаки.

— Отец уронил бутылку, сейчас уберёт. Все целы, мам.

Она не отвечает, но я слышу, как закрывается окно. Легко — почти беззвучно. Она не поверила. Но сделала вид, что поверила. Как всегда.

— Ей нужна операция, и ты об этом знаешь. Если не сделать операцию — она не сможет ходить. — Понижаю голос до шёпота, в котором кипит сдерживаемая ярость. Она жжёт горло, вырывается наружу горячим, шипящим воздухом. — Ты это понимаешь? Она будет прикована к постели. А ты своим образом жизни только всё усложняешь. — Сглатываю комок в горле. — Плевать как, но я помогу ей. Не мешай мне.

Не дожидаясь ответа, разворачиваюсь и поднимаюсь к себе.

Каждая ступенька скрипит под ногами, осуждая меня. Дерево стонет, вторит моему состоянию. Я считаю их. Пять. Семь. Двенадцать.

Захожу в комнату и закрываю дверь. Щелчок замка отсекает меня от остального мира.

Комната встречает полумраком. Старая кровать, письменный стол, стопка книг на подоконнике.

Телефон вибрирует снова. Короткий, настойчивый сигнал.

Я подношу его к уху. Голос Кола — деловой, сухой, без лишних эмоций.

— Шон. Завтра. В баре за ним присмотрят, пока мы будем угонять тачку.

Я закрываю глаза. Снова вижу мамину улыбку. Её хромоту. Её слёзы. То, как она отворачивается, когда думает, что я не смотрю.

— Хорошо. В 22:00 буду у бара.

Сбрасываю звонок и падаю на кровать. Смотрю в потолок. На нём играют тени от уличного фонаря. Длинные, косые — они тянутся к стенам, к окну, ко мне. Дрожат в такт ветру за стеклом.

Завтра я снова переступлю черту. И часть меня хочет верить, что это последний раз. Что после операции мама встанет на ноги — и я остановлюсь. Завяжу. Начну сначала. Всё по закону. Чтобы хоть как-то искупить свои грехи, буду отдавать честно заработанные деньги в благотворительность.

Но другая часть — та, что циничнее, — знает: это не последний раз.

Оказывается, можно хотеть быть хорошим. Можно хотеть измениться. Можно смотреть на звёзды и обещать себе, что завтра будет по-другому.

А потом приходит «завтра» — и ты снова делаешь тот же выбор. Потому что другого пути нет. А когда его нет — это называется «выживание».

И я выживаю. Как умею.

Плохое предчувствие сидит под ложечкой. Я отгоняю его.

Схема Кола кажется выигрышной. Достаточно просчитанной. Но это не играет роли сейчас. Самое главное — это поставить маму на ноги. У неё разрыв колена, физиотерапия не помогает. Ради неё я готов рискнуть.

Вечером мы стоим у бара. Холодный воздух пахнет сыростью и прокисшим пивом, которое вынесли вместе с мусором. Боб даёт знак из-за угла — короткий взмах рукой. Наш объект готов. Мужик напился и теперь дрыхнет где-то в углу, уткнувшись лицом в липкую стойку.

Мы выдвигаемся к его дому. Неподдалёку — три квартала, пять минут быстрым шагом. Тени, тишина, тусклый свет фонарей. Всё как обычно. Подозрительно обычно.

Я взламываю машину.

Старый седан, потрёпанный жизнью — вмятины на крыле, ржавчина на порогах. Пальцы двигаются на автомате — старая привычка, которую я пытался похоронить, но она, как и я, оказалась живучей.

Провода. Замок зажигания. Пара движений.

Мотор оживает. Я выдыхаю. Всё идёт по плану.

Но проходит буквально меньше минуты. По крыше начинают барабанить.

Гулко. Яростно. Кулаками — или чем-то тяжёлым, от чего металл прогибается внутрь, отдаёт вибрацией в позвоночник.

Я поднимаю голову. Сквозь заляпанное стекло — перекошенное от ярости лицо.

Этот мужик здесь. План раскрыт.

Кол срывается с места первым. Выбегает из машины и исчезает за углом, даже не оглянувшись. Ублюдок. Трус.

Я перебираюсь на пассажирское сиденье — туда, где он сидел минуту назад, дыша в затылок и обещая, что всё будет чисто. Пальцы скользят по дешёвому чехлу, ищут ручку двери, чтобы выбраться с другой стороны. Но мужик быстрее.

Стекло взрывается — арматура входит в него с острым звуком. Осколки летят в лицо, режут щёку, впиваются в ладони, которыми я закрываю глаза — слишком поздно.

Резкая боль пронзает глаза — я чувствую её где-то глубоко, за глазным яблоком. Теряю ориентацию. Мир расплывается в мутных вспышках, превращаясь в калейдоскоп серого и красного.

Он открывает дверь. Хватает меня за шкуру — пальцы впиваются в воротник, сдирают кожу на шее — и швыряет на асфальт.

Тяжёлый удар по спине. Я чувствую его каждой косточкой, каждой мышцей.

Пинки. В рёбра. В поясницу. Ещё один удар по голове. Следом по почкам, отчего из лёгких выбивает воздух, и я хватаю ртом ночную пустоту, но в неё не входит ничего, кроме боли.

Срабатывает инстинкт. Древний, звериный, тот, что живёт глубже страха в каждом из нас. Он поднимается яро откуда-то изнутри.

Я пытаюсь проморгаться. Различить силуэт сквозь мутную пелену. Кровь заливает один глаз, второй видит размыто — тень, движение, пятно света. Отталкиваю его от себя — ногами, локтями, всем телом. Он падает, теряя свое оружие против меня. Арматура катится к моим ногам, и я нащупываю то, чем он меня огрел.

Металл. Холодный. Тяжёлый. Ещё хранит тепло его ладони.

Мужик срывается с места в мою сторону снова. И я быю в ответ.

Мир сужается до одного движения. До одного удара. До одного выдоха. Я перестаю быть Шоном. Я становлюсь только рефлексом — тем, что осталось от мальчика, который когда-то научился защищать себя единственным доступным способом.

Я перестаю думать. Я просто выживаю.

Все затихает. Его тело валится на асфальт — и я слышу глухой звук, который въедается в память навсегда.

Я опускаюсь на колени рядом с ним. Дрожащими пальцами щупаю пульс на его шее. Нажимаю — и жду. Секунду. Две. Три.

Сердце бьётся. Толчок. Ещё один. Есть. Жив.

Я выдыхаю — и в этом выдохе всё: и облегчение, и ужас, и осознание того, что я только что сделал. Я смотрю на свою руку. С пальцев капает кровь — тёмная, густая, не моя. Она собирается каплями на кончиках, срывается вниз на асфальт.

До меня доходит вся тяжесть случившегося только что.

Я бросаю арматуру в сторону. Металл с лязгом ударяется о бетон, подпрыгивает, катится и замирает в полосе света от фонаря. Звук режет слух, как выстрел.

И тут я слышу сирены.

Они нарастают — тонкий, пронзительный вой, от которого всё внутри сжимается в тугую, холодный узел.

Машина выезжает из-за угла, заливая меня светом фар. Я замираю. Белый, ослепляющий свет ударяет в лицо, отбрасывает длинную тень — мою и тела на асфальте.

Бежать некуда. Да и ноги не слушаются.

Я стою как вкопанный и смотрю, как ко мне приближаются фигуры в форме. Две. Чёткие, быстрые, без колебаний.

Одна из них уже вызывает скорую в рацию. Голос — металлический, разорванный помехами.

Я поднимаю руки. Медленно.

Щурюсь от света фар, но не опускаю голову. Кровь на лице уже начала подсыхать — стягивает кожу, липнет к ресницам.

— На колени! Руки за голову! — голос резкий, властный, не терпящий возражений.

Я опускаюсь на колени. Кладу руки на затылок. Пальцы дрожат.

Наручники защёлкиваются на запястьях.

— Есть кто-то ещё? — спрашивает один из гардов.

— Убежал, — отвечаю севшим голосом. — Я не знаю, куда.

Двое переглядываются. Один остаётся у тела — проверить пульс. Второй поднимает меня, толкает в сторону машины. Я не сопротивляюсь.

Заднее сиденье пахнет чужим страхом. Я прижимаюсь затылком к холодному стеклу и смотрю, как мимо проплывают огни с окон домов.

В участке меня заводят в комнату для допросов. Тусклый свет, бетонные стены, стол и два стула.

Я сажусь. Смотрю на свои руки в наручниках. Кровь запеклась под ногтями.

Проходит полчаса. Может, час. Время здесь течёт иначе.

Дверь открывается.

Входит женщина. Лет сорок, короткие волосы, строгий костюм. На поясе — значок и пистолет. Она садится напротив, кладёт на стол папку, открывает её.

— Шон Маккарти, — читает она без эмоций вслух. — Восемнадцать лет. Раннее не привлекался. — Она поднимает на меня глаза.

Тёмные, цепкие. Я не отвожу взгляд.

— Ты хоть понимаешь, что если он умрёт — ты сядешь за убийство? — продолжает она.

— Он жив. Я проверял пульс. — Я сглатываю. Во рту сухо.

— А если его состояние ухудшится после операции? — Она наклоняет голову, рассматривая меня. — Открытая черепнозговая травма. Ты его арматурой чуть на тот свет не отправил в миг.

Я молчу.

Потому что нечего сказать. Потому что в голове — только один звук. Тот глухой удар, когда тело падает на асфальт.

— Где твой поделник? — спрашивает она.

— Я не знаю.

— Имя.

— Я не знаю.

Она вздыхает. Откидывается на спинку стула. Смотрит на меня — долго, изучающе. Пытается найти во мне что-то, что оправдало бы её надежду.

— Ты способный парень, Шон Маккарти. — Говорит она наконец. — Я видела твоё личное дело. Умный. Активист в школе. Был. Пока не связался с плохой компанией. Но доигрался. После сегодняшнего просто так ты отсюда не выйдешь. И это не угроза, а факт.

Она закрывает папку громким хлопком.

Я смотрю на свои руки и думаю о маме. О том, что она скажет, когда узнает. О том, что операцию теперь не сделать.

Оказывается, можно хотеть сделать как лучше. Можно идти на риск ради тех, кого любишь. Но дорога в ад вымощена не только благими намерениями. Ты это поймешь, когда останешься в пустой комнате, в наручниках, глядя на пятно чужой крови на руках, которые ты так и не смог отмыть.

На следующий день меня перевозят в Корк. Это явный признак, что в ближайшее время мне вынесут приговор и закроют здесь в колонии.

После обеда меня приводят в комнату для посещений.

Лампы гудят где-то над головой — монотонно, навязчиво, высасывая из воздуха последние капли человеческого тепла. Стены выкрашены в болезненно-зелёный цвет — такой, который специально подбирали, чтобы давить на психику.

Как только меня привезли сюда, следователь коротко, но точно мне всё объяснила. Бросила на стол бумагу с результатами из больницы: травма головы, но жить мужик будет. Слова отпечатаны чёрным по белому — официальные, безжалостные.

Уголовное дело. Срок светит реальный.

Дверь открывается со скрипом, прерывая мои мысли.

Я поднимаю глаза — и чувствую, как внутри всё леденеет. Кровь в жилах становится холодной. Застывает где-то в груди, не доходя до пальцев.

На пороге стоит отец.

В старой куртке. С опухшим лицом и глазами, в которых плещется вина. Он смотрит на меня, и я вижу, как дрожит его подбородок.

— Прости, Шон. — Говорит он.

— Это не место для твоей исповеди. — Слова выходят безжизненными — плоскими, мёртвыми, как те бумаги на столе. — И совсем не вовремя твои признания. — Не отвожу от него взгляда.

Отец мнётся, переминается с ноги на ногу — как мальчишка, которого вызвали к доске, а он не выучил урок. Опускает взгляд. Потом поднимает его.

— Это я рассказал Гилберту, что вы собрались сделать.

Я застываю.

Слова не укладываются в голове. Они входят в уши, но мозг отказывается их обрабатывать. Они повисают где-то в воздухе между нами — и я смотрю на них, как на инопланетный язык.

Он всё знал. Пока меня били арматурой, пока я отбивался.

— Что? — переспрашиваю я. И в этом «что» — надежда. Тонкая. Детская. Ломкая. Надежда, что я ослышался. Что перепутал. Что сейчас он скажет: «Шучу, сынок, это был тест на детекторе лжи». — Откуда ты узнал?

— Я подслушал разговор. Под дверью твоей комнаты.

Отец проводит жёстко ладонью по лицу.

— А с Гилбертом мы часто пьём в одном баре. — Продолжает он. — Я боялся, что это приведёт тебя за решётку. Что ты можешь перейти границу. Я хотел... я хотел, чтобы он тебя просто остановили. Чтобы ты не успел сделать то, о чём пожалеешь.

Воздух в комнате давит на плечи, сжимает грудную клетку, вытесняет кислород.

Я смотрю на отца.

И в голове — только одна мысль. Она простая. Чёткая. Как удар арматуры.

Он хотел меня остановить. И остановил. По-своему.

Только вот поезд уже ушёл. Я уже переступил. Я уже ударил. Я уже сижу здесь.

— Ты хотел меня остановить. Ну что ж. Ты остановил. — Я поднимаю руки ему на обозрение. — Видишь? Сработало. Я сижу. В участке. С уголовным делом. А Гилберт — в больнице. И всё благодаря тебе.

Отец открывает рот. Закрывает. Слов нет.

Я откидываюсь на спинку стула. Она впирается в лопатки. Но я не чувствую.

— Ты знаешь, что самое страшное, отец? — говорю я. — Не то что ты меня предал. А то, что ты сделал это из любви. Ты правда думал, что спасаешь меня. И от этого — ещё тошнее. — Переключаю взгляд на зелёную стену. — Ты боялся, что я сяду в тюрьму. И привёл меня сюда своими руками.

Молчание повисает в комнате.

Оказывается, нас разрушают не враги. Не те, кто желает нам зла. Нас разрушают те, кто любит нас неправильно. Чьи руки тянутся помочь — но сшибают с ног. Чья забота душит. Чья любовь — как та самая бутылка, которую он так и не смог бросить: вроде бы греет, но на самом деле — сжигает всё внутри.

— Я вытащу тебя, — говорит он быстро, срывающимся голосом. В нём звучит отчаяние — такое, которого я никогда раньше не слышал. Оно ломает слова, делает их хрипыми, почти неразборчивыми. — Найму адвоката.

— У нас нет денег на хорошего адвоката.

— Тогда я поговорю с Гилбертом.

Я качаю головой. Медленно. Тяжело. Внутри — пустота. Даже злости уже не осталось на него. Только выжженная земля там, где когда-то было что-то живое.

— Я пробил человеку голову. Мне нет поблажек. — Мой голос звучит ровно. — Разговор закончен, отец. Уведите меня. — Я обращаюсь к надзирателю в дверях. Не глядя на отца.

Тот кивает. Подходит. Берёт меня под локоть.

Я даже благодарен, что меня уводят сразу.

Шаги гулко отдаются в коридоре. Я слышу, как отец что-то кричит вслед — но слова тонут в звоне ключей и лязге замков. Я не оборачиваюсь.

Дверь камеры закрывается за моей спиной с металлическим лязгом. Звук врезается в позвоночник, оседает где-то глубоко внутри.

Я остаюсь один.

Серый прямоугольник. Койка. Унитаз. Раковина. Стены, пропахшие сыростью. Столько боли впитано в эти стены, что они, наверное, давно должны были рухнуть.

Я сажусь на койку. Пружины скрипят. Опускаю голову.

Предательство не всегда приходит от врагов. Иногда оно стоит на пороге родного дома, сжимая в руке бутылку и уверяя, что хочет как лучше.

Суд проходит быстро. В одно заседание. Маятник, который качается один раз — со звоном — и замирает в точке «виновен». Или, может, маятник не замирает вовсе: я слышу его тиканье до сих пор, где-то за рёбрами, и не знаю, когда он позволит мне уйти.

Я стою в клетке. Слушаю, как судья зачитывает приговор, и слова входят в одно ухо, из другого выходят не задерживаясь. Потому что я уже знал, что будет дальше, — знал с той секунды, когда на той улице щёлкнули наручники.

Отец все же нашел адвоката. Дешёвого, равнодушного, в мятом пиджаке и с взглядом, намертво вбитым в потолок. Он не сказал и двух слов в мою защиту — просто отбивал номер: сидел, кивал, почёсывал переносицу.

Приговор: год колонии.

Сначала год казался цифрой. 365. Можно перетерпеть — закрыть глаза, пересчитать вдохи и выдохи — и однажды проснуться свободным.

Я ошибся.

Колония встречает серым бетоном и голосами, которые не замолкают никогда. Здесь всё не так, как в фильмах: нет музыки за кадром, нет крупных планов, нет пауз для драматического вздоха. Только распорядок — и по ночам вязкая тишина, которую разрывают то всхлип, то кашель, то скрип чужой койки.

Я учусь молчать. Учусь не дёргаться, когда в столовой толкают плечом, когда забирают еду, когда кто-то решает, что я — слабое звено.

Потом я привыкаю. Привыкаю к холоду, к гулу ламп — они гудят на одной ноте, как забытый всеми звук. Привыкаю к очереди в столовую, к остывшей еде, к тому, что горячая вода бывает раз в три дня.

По ночам я лежу и вспоминаю. Дом. Мамину улыбку, когда я возвращался после школы. Вагончик деда на берегу реки.

Кто я сейчас? Парень. Уголовник. В этой дыре, где даже трещины в потолке я выучил наизусть.

Но я всё ещё дышу. Всё ещё считаю дни — и где-то за рёбрами тикает тот самый маятник, качнувшийся один раз. Он качается между тем, кем я был, и тем, во что я превращаюсь. И я до сих пор не знаю, в какой точке он остановится, когда срок закончится.

Спустя месяц в камеру со мной селят Хебера. Он старше меня на четыре года. С малолетства — разбой, срок — не первый, сейчас сидит за крупную кражу. В отличие от меня он чувствует себя в этих стенах как дома. Как на своей территории, где он хозяин, а я — вроде того, кого здесь положено сломать.

Мы не находим общего языка с первой секунды. Хебер чувствует слабость — мою растерянность — и вцепляется в неё, как собака в глотку. И не отпускает.

Травля начинается почти сразу. Он и его дружки окружают, давят, ломают. Каждый день — новая проверка на прочность. Каждую ночь — слух, обострённый до предела, потому что я не знаю, когда им надоест одной словесной грязи и они решат, что слова — это слишком мягко.

Я сплю урывками. Вздрагиваю от каждого шороха, скрипа кровати, чужого вздоха.

Первая неделя с Хебером в камере — худшая в моей жизни. Потом — неделя карцера. И так по кругу.

Выговор за драку, которую не я начинал. Меня запирают в одиночку — с крысами и без единого окна. Свет не проникает сюда. Только гул лампы, которая не гаснет круглые сутки, и шорох в углах.

Я теряю счёт времени. Различаю только смену еды — по баланде, которую просовывают в щель — и по тому, как под веками меняется свет, когда я закрываю глаза.

Уже спустя ещё месяц я становлюсь другим. Научился не показывать страх. Научился смотреть перед собой и при этом видеть всё вокруг краем глаза.

Отец приходит каждую неделю.

Как на исповедь. Садится по ту сторону стекла, берёт трубку — и молча смотрит на моё разбитое лицо. На сбитые костяшки. На синяки, которые не успевают заживать до следующего раза.

Он ничего не говорит. А я ничего не хочу слышать.

Мы сидим так друг напротив друга и молчим. Каждую неделю. Десять минут. Между нами — стекло, общая кровь и слова, которые уже ничего не изменяют.

Иногда мне кажется, что он приходит не ради меня. Ради себя — чтобы сказать себе: «я хороший отец, я навещаю сына».

Иногда мне кажется, что он приходит, чтобы убедиться, что я всё ещё жив.

Я смотрю на его руки по ту сторону стекла. Они дрожат. Всегда. Даже когда он просто держит трубку.

Он показывает фотографию на телефоне. Прикладывает к стеклу экраном. На ней — мама. Стоит на крыльце, улыбается, машет в камеру. Седая прядь выбилась из пучка. Фартук в цветочек.

Её улыбка не обманывает меня. Я знаю, чего ей стоит стоять на своих двух ногах.

Я отворачиваюсь. Смотрю в стену. Потому что если смотреть на эту фотографию ещё секунду — сломаюсь. А в этих стенах сломаться нельзя: если сломаешься хоть раз — тебя съедят.

После этого я говорю конвоиру, что не буду выходить к отцу.

Пусть стоит перед стеклом и смотрит в никуда. Пусть пьёт свою вино, как пьёт водку по вечерам. Может, так честнее.

Я не знаю, приходит ли он ещё. Мне всё равно. Единственный смысл пребывания здесь — адаптироваться. Вот моя цель на всё оставшееся время.

Я занимаюсь в спортзале, когда дают возможность за хорошее поведение. Штанга, турник, бег на месте — всё, чтобы вымотать тело так, чтобы мозг отключался. Чтобы в голове не оставалось ни одной мысли — только пульс, пот и горячее дыхание.

Я начинаю отстаивать своё имя среди всех.

С каждым днём — чуть громче, чуть жёстче. Учусь не отводить взгляд. Учусь держать удар. Учусь бить первым.

И у меня получается.

Забиваю своего соседа Хебера по камере так, что у него остаются только зубы мудрости. После этого ко мне перестают лезть. Здесь уважение не меряют словами — его чеканят в синяках и кровоподтёках. Завоёвывают кровью.

Я стал другим. Меня больше нет — того Шона, который входил сюда растерянными глазами. Осталась только оболочка. Твёрдая, как бетон. Холодная, как решётка. Готовая к любым испытаниям, какие приготовит мир.

Нас водят на работы. Деньги копеечные — на них даже на воле как следует не поешь. Тратить некуда, и все в итоге играют в карты — на деньги, на сигареты, на пайки. Азарт убивает время, которое виснет здесь бесконечной, липкой петлёй.

Сначала проигрываю. Но не теряю время зря.

Изучаю манеру соперников, их привычки, их блеф. Запоминаю, кто когда моргает, кто чешет нос перед крупной ставкой. Кто говорит громче, когда блефует. Кто затихает, когда на руках сильная комбинация.

Я превращаюсь в наблюдателя. В шпиона. В игрока, который просчитывает партию на десять ходов вперёд, пока остальные думают только о текущей сдаче.

После я обыгрываю всех.

Карты становятся моей валютой. Я не беру чужое — я выигрываю. И это чувство лучше любого удара: удар — грубая сила, а карты — ум, контроль.

Я сижу за столом, смотрю соперникам в глаза и чувствую, как они боятся. Не моих кулаков. Моего взгляда. Моей уверенности.

Я вышел из тени и встал за стол готовый играть по-крупному.

Выигрываю. Системно. Холодно. Без лишней жадности.

Как только набираю нужную сумму — останавливаюсь. Выхожу из игры и жду.

Жду, когда придёт моё время на выход.

В день, когда мне разрешают звонок, я набираю отца.

Трубку долго не берут. Я уже хочу сбросить, когда на том конце раздаётся голос отца — хриплый, осторожный. Боится, что это розыгрыш.

— Приди. Один, без матери.

Пауза.

— Хорошо, — отвечает он наконец.

Отец приходит. Стоит по ту сторону стекла, постаревший, с потухшим взглядом. Щёки впали, под глазами мешки. Он будто уменьшился в размерах — сжали, высушили, оставили только тень того человека, каким он был.

Берёт трубку.

Я не трачу время на приветствия. Протягиваю ему под перегородкой плотный свёрток.

— Вот, держи.

Отец смотрит на купюры. Медлит. Потом берёт — пальцы дрожат, едва не роняют свёрток.

— Откуда столько? — Он смотрит не веря. — Шон... где ты взял?

— Даже здесь можно заработать. — Я говорю ровно. Глядя ему прямо в глаза. — Поживи в вагончике деда. Сделай вид, что тебе предложили работу. А через пару недель отдай все деньги на операцию маме.

Отец смотрит на меня долго. Кадык дёргается — он сглатывает, раз, другой. Кивает и убирает деньги во внутренний карман.

— Сын... — начинает он, и голос срывается. — Прости меня за тот случай...

— Хоть одна купюра пропадёт отсюда, — перебиваю я, не давая договорить, — тебе просто так с рук не сойдет.

Он замирает. Смотрит на меня — и в его глазах я вижу всё: стыд, боль, осознание того, что мы больше никогда не будем прежними. Что между нами не стекло. Пропать.

— Я всё сделаю, как ты сказал, — отвечает он почти шёпотом.

— Удачи.

Я разворачиваюсь и ухожу.

Ночью, перед отбоем, лежу на койке и смотрю в потолок. Трещин на нём — всё те же семь. Но смотрю я не на них.

Я думаю о дне, когда выйду. О том, как переступлю порог колонии и вдохну воздух, который не пахнет чужим отчаянием.

Думаю о маме. О её улыбке.

Сжимаю в пальцах воображаемые карты. Король пик, который всегда на руках. Два джокера — у каждого своё лицо.

Теперь я их не путаю. Я знаю, когда козырять, а когда сбросить и ждать.

Проходит полтора месяца.

В один из вечеров я прошу разрешения на звонок.

— Алло? — Мамин голос раздаётся на той стороне. Он звучит иначе — легко, с теплотой, которой не хватало мне последние месяцы. В нём звенит жизнь, которую я почти забыл.

— Мам, это я.

— Шони! — Она выдыхает моё имя, и в этом выдохе — всё. Целая вечность. — Сыночек!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.